

[Polaris]

Михаил
ОРДЫНЦЕВ – КОСТРИЦКИЙ



САН-БЛАС

Избранное

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXXXIV



Salamandra P.V.V.

**Михаил
ОРДЫНЦЕВ-КОСТРИЦКИЙ**

САН-БЛАС

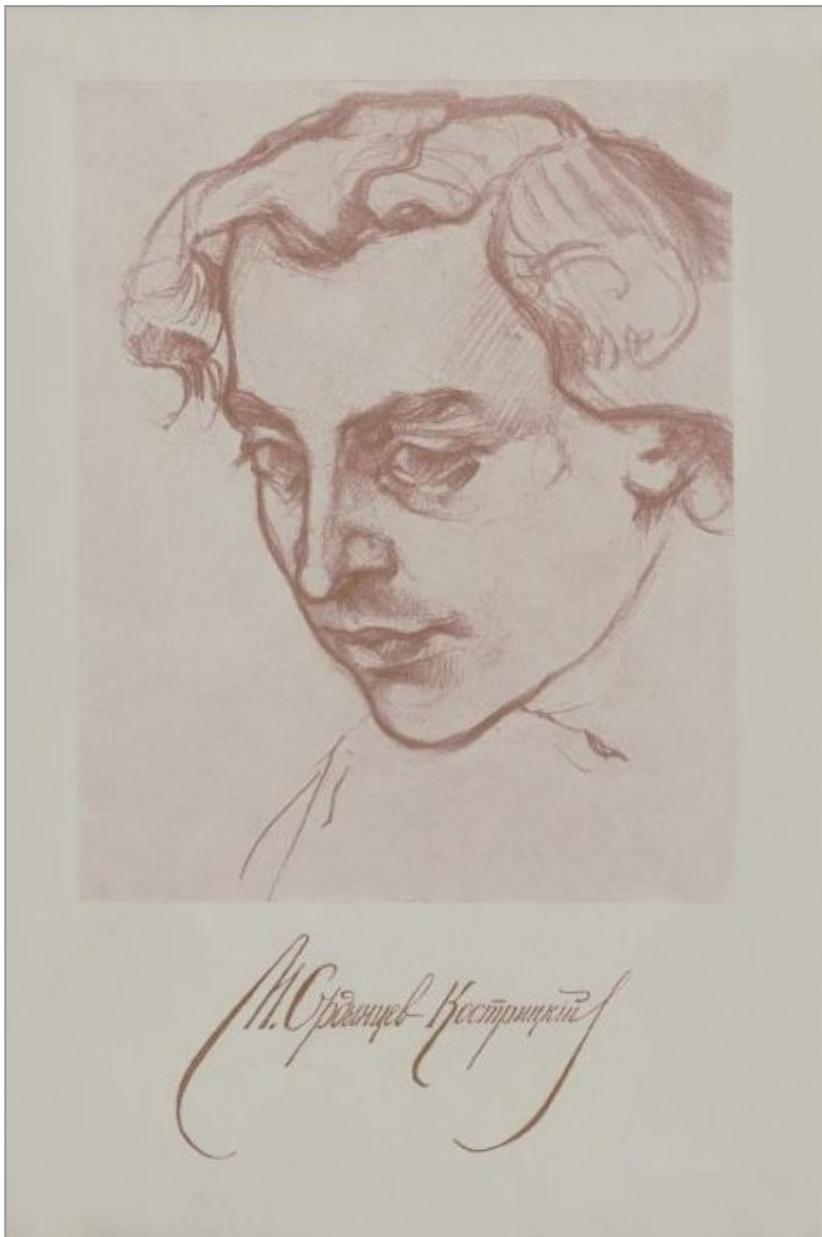
Избранное

Salamandra P.V.V.

Ордынцев-Кострицкий (Кострицкий) М. Д.

Сан-Блас: Избранное. Илл. С. Плошинского. Портр. раб. В. Волковой. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 267 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXXXIV).

Издание включает избранные приключенческие, фантастические и детективные повести и рассказы М. Д. Ордынцева-Кострицкого, не утратившие своей занимательности со времени их первой публикации в начале XX века.



ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОТ АВТОРА

Все мы, родившиеся во второй половине XIX в., еще со школьной скамьи знаем, что как развитие промышленности и торговли, так и непомерно возросшее народонаселение Европы вызвали, с одной стороны — настойчивые поиски «заморских» рынков, а с другой — массовую эмиграцию из европейских стран за океан, на сравнительно незаселенные материки... Эмигранты и торгаши отважно проникали в глубину «Черного материка», в бразильские леса и австралийские пустыни, и в результате — человечество, будто бы, детально ознакомилось с главнейшими особенностями самых заброшенных трущоб земного шара...

Достаточно «устаревшие» романы Купера, Майн-Рида и Эмара, положим, и теперь еще читаются подростками, а иногда и взрослыми, в которых сохранилась потребность фантастики, вносящей свежую струю в слишком рационалистическую атмосферу наших дней... Но, к сожалению, факты и герои их романов, по степени своей правдоподобности, все больше приближаются к обстановке и действующим лицам «Тысячи и одной ночи».

Прерии давно уже прорезаны густой железнодорожной сетью; в Бразилии и Аргентине прохода нет от немцев-колонистов; Чили незаметно превратилось в филиальное отделение «забронированного фатерланда»; на берегах Ла-Платы выросли чудовищные элеваторы и, вместе меланхолических напевов гаучосов, пампа оглашается гудками паровых локомобилей...

Но, к счастью, я имел возможность убедиться, что далеко не весь Южно-Американский материк подпал под обезличивающее влияние гг. культуртрегеров «просвещенных» европейских наций. Там и теперь еще найдутся «уголки» — некоторые, по занимаемой ими территории, не меньше целой Франции в теперешних ее границах — где жизнь не знает узких рамок окончательно «цивилизован-

шихся» народов; где до сих пор еще живут гордо драпирующиеся в изорванные «пончо» потомки конкистадоров Кортеса и Пизарро; где нет ни поездов со спальными вагонами, ни шоссированных дорог... В северо-западной части Аргентины, в Боливии и Парагвае, в бразильском Матто Гроссо — и сейчас еще можно наблюдать как идиллические картинки начала XIX века, так и проявление страсти, давно уж атрофировавшихся у обитателей «культурных» стран.

Туда, в глубину тропических лесов, по ту сторону... цивилизации я и зову с собой читателя, чтобы показать ему природу, перед которой меркнут багдадские сады Шехеразады, и — людей, способных с успехом заменить всех принцев и принцесс «волшебных сказок» Андерсена.

М. Ордынцев-Кострицкий

*Петроград
1914 г.*

«САН-БЛАС»

I.

Взрыв на запруде Камбоа

27-го сентября 1913 года президент Северо-Американских Соединенных Штатов нажал электрическую кнопку в Вашингтоне...

Ток, переданный по телеграфным проводам, пронесся на тысячи миль к югу, и одно из величайших событий века совершилось.

По крайней мере, об этом не было двух мнений среди десятков инженеров и сотен журналистов, собравшихся со всех концов земного шара, чтобы присутствовать на торжестве открытия Панамского канала.

Момент, когда должны были взорваться 40.000 килограммов динамита, заложенные в недрах запруды Камбоа, был в точности известен, но все же я изрядно волновался, отплывая на буксире из Колона. На долю неуклюжего пароходишки «Гатун» выпала исключительная честь. Раскрашенный флагами Соединенных Штатов и опереточной республики Панамы, он оказывался первым судном в мире, которому предстояло пройти по шлюзам из Атлантического океана в Тихий...

Само собой понятно, что мы, корреспонденты, готовы были горло перегрызть друг другу, лишь бы попасть на борт «Гатуна», и утром я искренне считал себя счастливейшим из смертных, узнав, что мое имя внесено в список пассажиров. Весьма возможно, что это чувство сохранилось бы у меня неприкосновенным до конца, если бы не мельком брошенная фраза одного из избранных, попавших на буксир...

— Забавно будет, если часы в Белом доме неверны, и взрыв минут на двадцать запоздает.

Мы в это время только что выходили из Гатунских шлюзов. До запруды еще оставался порядочный конец, но предположение незнакомца заставило меня похолодеть.

Я обернулся и встретился глазами с высоким загорелым господином, стоявшим со мной рядом. Его сухое, продолговатое лицо светилось насмешливой улыбкой. В левой руке его, опущенной на борт, дымилась сигаретка, а правой он покручивал густые темные усы.

— Да, это будет интересно, — подтвердил он свою ошеломляющую мысль. — Представьте себе наш «Гатун» на гребне взрыва сорока тысяч килограммов динамита...

— Не представляю... — буркнул я, почти с ненавистью глядя в его прищуренные черные глаза.

— Напрасно... Это — великолепная минута для искателя сильных ощущений.

— Меня интересуют не они, а материал для корреспонденций в мой журнал.

— Тогда другое дело, — взлетев к небесам, вы обездолите редакцию, пославшую вас на открытие канала. Я извиняюсь... Сеньор, должно быть, англичанин?

— Нет, я русский...

— *El russo?*.. Странно! Неужто же и у вас интересуются Панамой?

Я счел необходимым обидеться на этот двусмысленный вопрос.

— Еще раз извиняюсь и постараюсь искупить свою вину... Вы ищете сюжеты, — охотно дам вам целые десятки. Но раньше познакомимся — Родриго Суарес, по происхождению — парагваец, по образованию — инженер, а по профессии — «тропический скиталец».

— Журналист Ордынцев...

— Ординс... Ординац... Нет, это слишком трудно. Как ваше имя?

— Мигуэль...

— Вот это гораздо лучше... Итак, дон Мигуэль, я весь к вашим услугам... Что вам угодно знать из прошлого и настоящего канала?

— Мне кажется, сеньор, что мы становимся на ложный путь. Я предпочел бы, чтобы вы мне сами рассказали несколько характерных эпизодов.

— Но их такая бездна! Впрочем, если позволите, я буду придерживаться маршрута парохода, — это создаст некоторое подобие системы. Сейчас мы, например, вступаем в озеро, образованное запруженной рекой Чагрес. Могу вам сообщить, что на ста футах глубины под нами лежит селение Гатун. Я там бывал... Правда, все озеро названо по его имени Гатунским, но жители поселка едва ли признательны за эту честь. Им остается утешаться тем, что мы, строители дороги, обижены гораздо больше, — ведь половина линии теперь предоставлена в безвозмездное пользование рыб и крабов, а сколько с ней связано эффектных происшествий... Уму непостижимо! Вот видите направо островок и пальмовую рощу? Это вершина прежнего холма. Когда-то стояла здесь моя палатка и, выйдя из нее однажды утром, я увидел преинтересную картину. За ночь повесились на этих пальмах сто двадцать пять китайцев-кули. К вечеру триста товарищей последовали их примеру, а несколько сот остальных отправились к Колону, уселись там на берегу и, вероятно, умерли бы от голода и жажды, если бы прибоем не унесло их в океан...

— Сеньор!..

— Не верите?... А между тем, это был вполне логичный выход из положения, в которое их поставила судьба и администрация дороги. Попробовали бы вы стать на место пятидесяти тысяч австралийцев и канадцев, китайцев и чилийцев, уроженцев Вест-Индских островов и скандинавских стран, которые тонули в здешних топях и пропадали без вести в лесах. Железнодорожная линия прокладывалась по сплошной трясине, должно быть, ускользнувшей от Всевидящего Ока, когда Создатель отделял твердь от хлябей водных. Сотни и тысячи вагонов «дряни» — так называли мы размолотые камни и прочий мусор, получавшийся после работы землероя — бесследно исчезали в этой прорве, пока оттуда появлялась узкая полоска почвы, пригодной для прокладки шпал. Но стоило вам отойти на де-

сять футов от нее, — и вы пропащий человек! Трясина за- сасывала вас мгновенно... Внешнему виду долин никто не доверялся, — и среди зелени, и на песчаной почве одинаково существовали бездонные «колодцы». Для тех, кто попадал в них, спасенья не могло быть...

— Но оставались ведь холмы, леса и пальмовые рощи.

— Конечно, и многие из них избирали для прогулок, предпочтая смерть от укусов ядовитых гадов ужасной гибели в болотной тине.

— Против укусов змей существуют средства, дон Родриго!

— Но против жала черных скорпионов его еще не успели изобрести... А между тем, ими кишмя кишит весь перешеек, так что, с одной стороны, риск близкого знакомства с этим очаровательным созданием, а с другой — болото. Некоторые, правда, выказывали чисто ослиное терпение и от железнодорожной насыпи не отходили ни на шаг. Но это мало помогало... В Панаме существует до пятидесяти разновидностей болотных комаров. Из них два сорта пользуются вполне заслуженной славой. Это так называемый анофелес, прививающий микробы быстротечной малярии, и стегомия — носительница желтой лихорадки. Две эти дамы ежегодно уносили больше жертв, чем вся испаноамериканская война, обошедшаяся Штатам в семь тысяч человеческих существований...

Над ухом у меня зазвенел невидимый комар, и я невольно отшатнулся.

— Не бойтесь... — успокоительно заметил Суарес. — Теперь их истребили, а если и осталось малость, так существуют ведь больницы и врачи.

— Благодарю покорно, — существовали же они и раньше!..

— Само собой понятно, но только пользование ими со- пряжено было с некоторым неудобством. Для того, чтобы лечь в госпиталь, необходимо было совершить путешествие в Колон или Панаму...

— Побойтесь Бога, дон Родриго!.. Путешествие, когда протяжение всей линии каких-либо полсотни миль!

— Сорок семь, — я буду точен, но не забывайте, что на пространстве их изволили подвизаться ровно три тысячи бандитов...

— Вы шутите...

— Нимало. Когда у короля испанского родился сын, он объявил повальная амнистию всей сволочи, переполнявшей его тюрьмы, и добрая часть этих господ облюбовала для своих подвигов Панаму. По всей вероятности, страна не оправдала их надежд, и рыцарям большой дороги, за отсутствием работы, пришлось измыслиТЬ фикцию ее и, с образно своим вкусам, развлекаться. Любимой их забавой стало — снять рельсы на протяжении двух-трех десятков футов и из засады наблюдать, как поезд слетает с насыпи и исчезает в топи. Обыкновенно погибали при этом машинист и кочегары, а груз из «дряни» с одинаковым успехом мог уйти в трясину и здесь, и на несколько миль дальше. О нем жалеть не приходилось...

— А люди?

— Что же делать... Такого рода трюк все-таки был безобиднее, чем нападение бандитов на партии рабочих и поголовное их истребление.

— На рабочих!.. С какой же целью? Чтобы заполучить ненужные им кирки и лопаты?

— Не думаю, сеньор!.. Всего скорей — для практики, чтобы не забывать основ своего дела. Ведь и крушения они устраивали бескорыстно, так сказать, для нравственного удовлетворения своих смятенных душ...

— Великолепно!

— Я вижу, дон Мигуэль, вам нравятся клочки моих воспоминаний. Душевно рад. Тем более что все услышанное может вам пригодиться не дальше, как сегодня.

— Не понимаю...

— Потом! — переменил вдруг тон мой собеседник и, посмотрев на часы, прибавил: — Ну, кажется, пора... Извлеките-ка из футляра ваш бинокль. Прекрасно! Теперь смотрите по направлению моей руки. Вы видите?

— Тупик, которым кончается канал?

— Вот-вот!.. Это — плотина. Не отрывайтесь от нее, — через минуту будет взрыв.

Рука, державшая бинокль, у меня дрогнула. Запруда теперь казалась слишком близкой, и я с волнением прислушивался к ровному гулу пароходного винта. С каждым мгновением яснее выступали крутые обрывистые берега и темная преграда между ними; с каждым мгновением мы приближались к заложенной под нею мине...

Момент, поистине, был жуткий.

И вдруг мне показалось, что вся громада, пересекавшая канал, как будто бы вздохнула, всколыхнулась, точно огромная волна, и снова замерла, ничуть не изменившись. Но не прошло и четверти секунды, как вся она окуталась столбом коричневатого дыма, поднявшимся на недосягаемую высоту, и воздух всколыхнулся от оглушительного взрыва...

«Гатун» наш закачало, так что я еле устоял и должен был обеими руками уцепиться за опускавшийся подле меня канат...

— Вот ваш бинокль, — он не разбился, — послышался невозмутимый голос Суареса.—Смотрите поскорее!

Но было уже поздно...

Передо мною расстилалась прямая, как стрела, линия канала. Запруда Камбоа исчезла, точно ее вовсе не бывало, а пароход трещал и содрогался, летя на всех парах к Куле-бреге...

Еще немного — и на обоих берегах затрепетали флаги, послышались возбужденные возгласы тысячеголосых толп народа, треск невидимого фейерверка и колокольный звон.

«Гатун» убавил ход, и на носу его раздался вой сирены...

Я хотел что-то спросить у Суареса, но должен был отказаться от этой дерзкой мысли. Какофония, которой приветствовали американцы открытие канала, исключала всякую возможность разговоров. Оставалось только или присоединить свой голос к общей вакханалии бессвязных криков или ограничиться безмолвным наблюдением.

Я остановился на последнем...

Мы в это время медленно проходили место взрыва. На противоположных берегах, где еще несколько минут тому назад существовала гигантская запруда, уже дымились паровые землерои — машины, с такой же легкостью подымающие 60 пудов земли, как лавочник своим совком выхвачивает из ящика фунт круп. Одна из них выкапывала теперь из красноватой глины до половины сидевшую в ней каменную глыбу. Бее глубже вонзались ее четыре железных зуба в мягкую тинистую почву, и с каждым разом заметнее раскачивался камень. Вдруг он подпрыгнул, точно подброшенный невидимой силой; железные челюсти землероя скжались, и кран со своей ношей взвился над палубой «Гатуна»...

Свались эта громада вниз — и наше путешествие окончилось бы общим некрологом.

Но камень не свалился... Как мячиком, швырнул им кран куда-то в сторону, на берег, и пароход благополучно углубился в выемку Кулебры...

Я много странствовал и много видел на своем веку, но никогда еще мне не случалось встречаться с таким красноречивым показателем бессилия природы в борьбе с настойчивостью человека, как в этот памятный для мира день. Трудно поверить в искусственность Панамского прохода через Анды, — настолько он естественен, настолько грандиозен...

Невольно хочется приписать его происхождение каким-то вулканическим переворотам, разъединившим эти горные массивы и отодвинувшим их верхние края почти на расстояние версты. Но это невозможно. Омягчающий процесс выветривания еще не наложил своей печати на обнаженные откосы, и стены их горят на солнце яркими красками своих пород. Серые, ярко-красные и желтоватобурье полосы ложатся друг на друга, изредка мелькнет на них темно-аспидным пятном постройка, а рядом с ней уж выступают пламенно-оранжевые блики.

— Любуетесь, сеньор? — слышу я голос Суареса, воспользовавшегося тем, что наша сирена замолчала.

— Невероятно!..

— Для зрения, пожалуй... А вечером я угощу вас столь же невероятным слуховым эффектом. Не понимаете? Тем лучше!..

II.

За Рубиконом

Я, разумеется, не понимал, но дон Родриго не обманул меня и обещание свое исполнил...

Администрация канала, в числе других корреспондентов, пригласила и меня принять участие в торжественном банкете по поводу сегодняшних событий. Собрались мы в Панаме, на веранде тамошнего клуба «Young Men's Christian Association» — «Союза христианской молодежи», имеющего свои отделения на всем материке.

Сотни лампионов преувеличенно ярко освещали и сам дом, и улицу, и математически правильно разбитый сад перед верандой. Но эта иллюминация предназначалась не для нас, — ею могли любоваться жители Панамы; что же касается «избранных», то мы, тотчас же по приходе, должны были занять указанные нам места вокруг огромного стола и приступить к уничтожению какого-то «комиссариатского обеда».

К счастью, Суарес уселся со мной рядом, чем я и воспользовался, не теряя ни минуты...

— Простите, дон Родриго, — я вам мешаю есть...

— Но вы не знаете, что означает только что произнесенный здесь термин?

— К моему крайнему стыду, не знаю,

— Напрасно, — вам нечего стыдиться... Я сам с ним познакомился недавно, с тех пор, как разноплеменный сброд, работавший на перешейке, сменили янки со своим «Союзом христианской молодежи» и привычками так называемых культурных центров... Раньше мы, грешные, довольствовались шалашами и консервами в жестянках. Но что го-

дится для испанцев и представителей прочих низших рас, с тем никогда не примиряются англосаксы. Мы вынесли на своих плечах всю черную работу, желтую лихорадку, малярию — словом, все прелести Панамы, а эти белоручки пришли закончить наше дело и получить за него лавровые венцы. Тогда и появились, наравне с «гигиеническими жилими домами для рабочих», столь же неведомые нам комисариатские обеды. Штаты, в отеческой заботливости о христиански настроенных носителях своей культуры, построили для них дома, снабдили полной меблировкой, вплоть до дешевых граммофонов, и — не ограничиваясь этим — приняли на себя даже составление обеденных меню и осуществление их на деле. Сейчас мы, например, едим обыкновенный двадцатипятицентовый обед, в который входит суп из устриц, жаркое из индейки, тушеная говядина, томатовый салат, картофельное пюре и спаржа, рисовые оладьи с подливкой из ванили, фрукты, чай, кофе и какао...

— Однако!

— Простите, я несколько преувеличил, — последние напитки по выбору, а не все вместе... Не могут же желудки христиански настроенных молодых янки растягиваться беспредельно.

— Но даже и с таким ограничением ваш список говорит сам за себя...

— Я думаю... Но погодите, окончится обед — и вы узнаете, какие блестательные перспективы открыли Штатам потребители комисариатских трапез...

И я действительно узнал...

На четверть часа позже целая гирлянда негров окружила стол. С треском вылетели пробки из бутылок, и теплое шампанское запенилось в бокалах.

Гладко выбритый, морщинистый и сухопарый господин, сидевший на головном конце стола, поднялся...

Несколько человек захлопали в ладоши, застучали ножи и вилки.

— Господа! — произнес он, откашлявшись.

— Не слушайте, — шепнул мне Суарес, — другие будут интересней.

Но я предпочел слушать...

— Господа! Нам суждено присутствовать при совершении факта, который вызовет коренной переворот в экономической жизни всего американского материка. Мечта Анжело Сааведры, Карла V и императора Наполеона осуществлена правительством Соединенных Штатов; Штатам же будет принадлежать и львиная доля в барышах. С Востока через канал пойдет хлопок, машины из Тенесси и алабамское железо, самое доброкачественное и дешевое на земном шаре; с Запада будет сплавляться лес, необходимый на берегах Атлантического океана. В сферу влияние канала вовлекутся уголь, рыба, хлеб, плоды и мануфактурные товары. Весь азиатский рынок перейдет теперь из рук Европы в наши. Судостроение республики сделает колоссальный шаг вперед. При наличии канала, от Большых озер, по углубленному руслу Миссисипи, океанские суда — прямо с верфей — могут плыть в Новый Орлеан, в Колон и пересечь Панамский перешеек. Большой вопрос о сосредоточении флота Штатов, в случае вооруженного конфликта, отныне отпадает. Невозможно повторение эпизода из войны за независимость кубинцев, когда наш крейсер «Орегон» на всех парах летел из Сан-Франциско к Магелланову проливу, а мы все трепетали в ожидании и жадно рвали телеграммы из рук газетчиков, кричавших: «Extra! Extra! Oregon!»

Оратор хотел еще что-то сказать, но охмельвшая аудитория, точно желая опровергнуть только что высказанную им надежду, разноголосым хором загремела:

— Extra! Ex-tra! Oregon!..

Но возгласы, смущившие американца-инженера, произвели совершенно противоположное действие на какого-то чумазого сеньора, все время ерзавшего на своем стуле и нетерпеливо шевелившего усами.

Воспользовавшись минутным беспорядком, он вскочил и забарабанил по столу обеими руками.

— Слушайте и поучайтесь! — произнес, усмехаясь, дон Родриго.

— Милостивые государини!..

Слова эти бесследно исчезли в общем гаме, да в них и не было нужды, так как сидели за столом одни мужчины.

— ...и милостивые государи!

Где-то раздался возглас:

— Тише!

Оратор вдохновенно закинул голову назад и продолжал:

— Не ясно ли нам всем, что мы здесь празднуем величайшую из всех побед, когда-либо одержанных на земном шаре? Не ясно ли, что по сравнению с ней тускнеют победы Цезаря и Александра и со стыдом должны были бы скрыться с беспристрастных исторических скрижалей? Еще вчера, еще сегодня дикие звери могли переходить через плотину Камбоа, — и вот ее не стало, а мы, мы — соль земных и прочих всех народов, представители Америки и с изумлением взирающей на нас Европы, мы на всех парах прошли через канал из Атлантического океана в Тихий и пьем шампанское... Да, это благородное вино, и образ *illistrissimo* Лессепса заставляет меня вспомнить ту великую эпоху, которую мы все должны считать началом всесветной цивилизации, началом всякого прогресса, перед которой солнечный свет есть только тень!.. Я говорю о французской революции, уничтожившей все предрассудки: Бога, дворянство и царей, и если могу в чем-либо упрекнуть великого согражданина Мирабо, Марата и прочих мировых героев, так только в том, что он поторопился с идеей прорытия канала. Начни он свою работу, достойную титанов древности, не тридцать два года тому назад, когда мы еще томились под гнусным колумбийским игом, а теперь, то, без сомнения, ее самостоятельно бы закончила Панама, эта великодушная республика, этот неустрешимейший из всех народов, для которого прогресс и цивилизация нужнее воздуха и света!... Пью...

За что он собирался пить, я так и не узнал, — восторженные вопли, выкрики и стоны меня буквально оглушили. Польщенные в своей национальной гордости панамцы со всех сторон потянулись к выразителю их лучших чувств. Бокалы сталкивались и звенели, шампанское лилось на

скатерть, превращая ее в вонючее винное болото. Южноамериканская цивилизация грозила сказаться в полном блеске...

Я уже неоднократно сталкивался с ее конечным проявлением и собирался под шумок исчезнуть.

Но дон Родриго и тут меня предупредил.

— Вы удовлетворены, мой друг? — осведомился он, вынырнув из-под руки какого-то побагровевшего от криков и вина сеньора.

— Вполне, и помышляю только о спасении...

— Позвольте быть вашим чичероне... Пройдемте в сад, — там никого не будет.

Мы кое-как пробрались к выходу и сошли с веранды, где продолжала бесноваться соль земных «и прочих всех народов»...

— Да, сценка характерная! — заметил Суарес, вдыхая полной грудью ночной воздух. — И ведь вся Южная Америка на одну стать...

— Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано?

— Что такое? — не понял он.

Я перевел.

— Вот именно... А сколько есть возможностей, невероятных, ошеломляющих и — главное — доступных!

— Не слыхал, но верю вам охотно, хотя и удивляюсь...

— Чему?

— Как это вы не приложили своих рук к какой-либо из них?

— А для чего?.. Ведь я «тропический скиталец», один из тех людей, которые охотно соглашаются на самые рискованные авантюры, лишь бы им было гарантировано известное количество неиспытанных раньше ощущений. Я лично с удовольствием прокладывал дорогу в этих топях, пока здесь не было ни «христианской молодежи», ни скверных граммофонов. С их появлением мне оставалось только повернуться и уйти...

— Что вы и сделали?

— Конечно! В роли культуртрегера я самому себе показался бы смешон...

— Ну, а возможности, о которых вы только что упоминали... Неужто же все они сопряжены со столь нелюбимым вами обществом цивилизованных людей и граммофонов?

— Как вам сказать, — одни из них неизбежно приведут к комиссариатскому обеду, казенным прачкам и к «приноровленным для тропиков» костюмам из новоорлеанских магазинов...

— А другие?

Суарес расхохотался коротко и сухо...

— Для осуществления других, — иронически взглянул он на меня, — потребуется некоторое количество действительной отваги, а многие ли обладают этим некультурным свойством?

— Будьте уверены, что их найдется гораздо больше, чем вы предполагаете, сеньор!

— Тем лучше, — я вас ловлю на слове... Вообразите на несколько минут, что вы не русский, не сотрудник журнала «Глобус», а местный уроженец, вполне свободный и изнывающий от вечного безделья. Вообразите, что к вам является покорный ваш слуга и говорит: «Послушайте, мой друг, вы киснете от скуки, а между тем в тридцати милях от Колона существует презанимателный клочок земли, выступающий в Атлантические воды и скрытый от взглядов любопытных белокожих густой завесой непроходимых трав и тростников. Это — резиденция племени Сан-Блас, которое еще во времена испанского владычества обвело свои владения предельной чертой и объявило, что каждый, переступивший за нее, обратно не вернется. От времени до времени выискивались смельчаки, желавшие поближе познакомиться с таинственной страной, и достигали своей цели... Одно только обидно: никто из них не возвращался, чтобы прочесть лекцию в географическом обществе Колона. Я, кажется, единственный представитель белой расы, побывавший на территории Сан-Блас и благополучно унесший оттуда свои кости. Мне теперь как нельзя более понятна та причина, из-за которой местные индейцы пред-

почитают жить домашним кругом и избегают принимать случайных визитеров... Сеньор! как инженер и честный человек, я смело утверждаю, что за предельной чертой, в течение веков, скрывались от взгляда белых золотые россыпи, перед которыми Аляска и Южная Африка — ничто! Взять их открытой силой невозможно, — это будет стоить жизни шести-семи тысяч человек, но маленький отряд я, кажется, сумею провести туда и вывести обратно. Через три дня мы выступаем. Не испытываете ли вы желание развлечься?.. Позвольте, в таком случае, пожать вам руку!..»

И прежде, чем я успел опомниться, мы уже обменялись рукопожатием с сеньором Суаресом.

— Послушайте, ведь вы штутили? — воскликнул я, придя в себя и вырывая руку из его дружеских тисков.

— Ничуть. Я говорил вполне серьезно.

— Но это невозможно!

— Из-за недостатка действительной отваги? — насмешливо прищурился Родриго.

— Кой черт!.. Я мог, по вашей просьбе, вообразить себя на несколько минут бездельником-панамцем, но на самом деле...

— Вы — русский журналист и, возвратясь из территории Сан-Блас, дадите вашему журналу сенсационные и — главное — не поддающиеся никакой поверке сведения об этой таинственной стране.

— А если мы оттуда не вернемся?

— Я понимаю: вас страшит неизмеримая утрата, которую понесет в вашем лице бедная русская литература?

Это уж было слишком...

Я сделал два шага, отделявшие меня от Суареса, и, подойдя к нему вплотную, отчеканил:

— Прошу вас, дон Родриго, сообщить мне точно день и час нашего отъезда!

III.

Новый участник «Коммерческого дела»

На следующее утро я проснулся с смутным сознанием какой-то глупости, проделанной мной накануне. В чем она выразилась, сразу припомнить мне не удалось, — слишком много новых лиц и происшествий прошло у меня перед глазами за этот шумный и чреватый последствиями день...

Но только что я вспомнил нашу поездку на «Гатуне», как передо мной, словно живое, встало насмешливо-спокойное лицо сеньора Суареса, и я одним прыжком соскочил на пол...

Понятно, — только этого недоставало! Сглутил, как школьник, как мальчишка... Подумаешь, какое доказательство своей отваги! Патент мне на нее требовался, что ли?.. Воображаю, каким дураком я показался этому опереточному искателю опасностей и приключений... Писатель, серьезный человек — похоже, как гвоздь на панихиду! В редакции ждут от меня описание торжественного открытия канала, а я — извольте радоваться — преображаюсь в авантюриста начала XIX века... Мило! И дернуло же меня вчера уединиться с этим проходимцем!.. Опростоволосился, как никогда... Мелодраматическим эффектом соблазнился, — «сеньор, назначьте точно день и час отъезда»?.. Этакая глупость!

— Позволите войти?

Я, как ужаленный, обернулся к двери.

— Кто там?

— Покорный ваш слуга, Родриго Суарес...

Час от часу не легче!.. Я героически преодолел первое мое желание — послать его ко всем чертям и по возможности вежливо ответил:

— Две-три минуты, *caballero*!.. Я не успел еще одеться.

— Не церемоньтесь, — охотно подожду и пять...

Но ждать ему пришлось гораздо дольше. Я уж давно привел себя в порядок, но двери не хотел открыть, так как

придумывал благовидную причину для отказа и ничего не мог придумать...

Положение становилось неудобным, и я был вынужден смириться.

— Пожалуйста, войдите...

— Buenos días, señor, como está Usted?

— Mil gracias, señor!..*

Свежий и улыбающийся, дон Родриго пожал мне руку и уселся в предложенное мною кресло.

— Надеюсь, я вас не разбудил? — осведомился он, заскиривая сигаретку.

— О, нет, — я уж давно проснулся.

— И, вероятно, обдумывали телеграмму редактору вашего журнала?

— Гм... Да... Отчасти...

— Великолепно!

— Я не могу располагать собой по собственному усмотрению, вы понимаете?

— Конечно... Сознание исполненного долга — единственное утешение порядочного человека. Позволите, я позвоню лакею? Где ваша телеграмма?..

— Она... Я не успел еще ее составить.

— Досадно, — нам нужно торопиться... Давайте, составим сообща? — и Суарес протянул руку за пером. — Готово! — произнес он через несколько минут, отодвигая в сторону заполненный листок.

Я наклонился над бумагой, пробежал глазами составленную по-французски телеграмму и совершенно упал духом...

И было от чего, — там красовались великолепным почерком написанные такого рода фразы:

«Прошу согласия редакции на небольшую поездку внутрь страны. Совершенно неисследованная область. Таинствен-

* Доброго утра, как вы себя чувствуете?» — «Благодарю вас» (тысяча благодарностей). (Здесь и далее прим. автора).

ные слухи. Есть связь с каналом. Гарантирую пять тысяч строк сенсационных сообщений».

Я сразу понял, что должен испытывать преступник, которого приговорили к смертной казни... Ответ редакции был ясен: «Конечно, поезжайте»... Неисследованная область, связь с каналом, — чего же лучше!..

Явившийся по звонку лакей уже стоял перед столом.

— Подписывайтесь, друг мой, и припишите сверху адрес, — поощрил меня к дальнейшим подвигам Родриго.

Почти машинально я вывел на заголовке телеграммы: «Россия. Петербург. Журналу “Глобус”» — и, подписавшись, вопросительно взглянул на Суареса.

— Ну, вот и кончено, — заметил он, передавая роковой листок лакею. — Теперь уж остаются пустяки. Идемте...

Я окончательно потерял почву под ногами и перестал сопротивляться.

Мы взяли наши шляпы и вышли из отеля.

— Куда теперь?

— Вербовать участников для предполагаемой поездки.

Этого ответа я уж никак не ожидал...

Суарес очень мило улыбнулся.

— Что вы на меня смотрите, точно я с луны свалился?

Не предполагали ж вы, надеюсь, что мы сам-друг отправимся за золотым руном Сан-Бласа?

— Но вы мне сами говорили, что выступление назначено на послезавтра!..

— Да, говорил... Так что же вас смущает?

— А то, что я, против ожидания, оказываюсь чуть ли ни единственным вашим компаньоном. Отсюда ясно...

— Что и другие будут к сроку... Иначе я вас не стал бы приглашать.

Мне оставалось только пожать плечами.

Мой спутник что-то усиленно соображал и не предпринимал никаких мер для возобновления неожиданно прервавшегося разговора.

В полном молчании прошли мы несколько кварталов и, наконец, остановились перед решеткой «патио», из-за которой доносился слабый плеск фонтана и мелодическое

позвякивание струн гитары. Это мне, даже в Панаме, показалось архаизмом. Путем горького опыта я уж давно мог убедиться, что и Испания, с которой мы знакомимся по увлекательным романам Немировича-Данченко, и Южная Америка, облюбованная пылкой фантазией Эмара, все это — сказки, эффектные, чарующие несуществующим местным колоритом, но тем не менее — лишь сказки...

И вдруг, после вчерашнего банкета, где произносились речи о восточных рынках, о хлопке, мануфактуре и железе, я вижу в двух шагах от клуба «Христианской молодежи» типичный дом испанского «идальго», каким он мог бы быть лет пятьдесят тому назад, никак не меньше. Массивные стены из тесаного камня, продольные решетки в узких оконных амбразурах и утопающий в цветах внутренний дворик, где грезит темноглазая Инесса под неумолчный рокот дрожащих струй фонтана...

Но Суарес уже схватил висевший на цепочке молоток-«альдабе» и барабанил по воротам.

Очарование исчезло... Со стороны «патио» показался темный силуэт пеона, и через минуту калитка распахнулась.

Мой спутник, очевидно, был частым гостем в этом доме. По крайней мере, слуга приветствовал его почтительным поклоном, а сам он, не предлагая никаких вопросов, провел меня внутрь «патио», обвеянного поэтической дымкой старины...

Но, к крайнему моему смущению, эта дымка оказалась даже чересчур реальной. Прежде всего, я инстинктивно прижался к каменной стене, чтобы пропустить мимо себя какой-то невидимый автомобиль, пахнувший на меня своим зловонным дымом, но, спохватившись, сделал еще несколько шагов вперед и остановился, пораженный представившейся моим глазам картиной...

Большой, почти квадратный двор был сплошь завален стволами недавно срубленных деревьев; на превращенных в бесформенные груды клумбах выселись какие-то ящики и металлические трубы; поперек «патио» лежала серовато-бурая громада, в которой я не без усилия узнал отдель-

ное крыло аэроплана, а в центре этого хаоса, у бассейна, сидел спиной к нам коренастый, немолодой уж господин — коротко остриженная голова его была покрыта седыми волосами — и сосредоточенно смотрел на завывающий пропеллер. Последний держался в воздухе на одном и том же месте, но приводил в движение целую систему рычагов, поставленных на колоссальный металлический станок, окруженный фундаментом из кирпичей. Внутри станка что-то блестело, и оттуда коричневатыми клубами валил тошнотворный дым перегоревшего бензина...

— Сеньор Алонзо! — закричал Родриго.

— Сеньор Алонзо! — поддержал его и я, чувствуя, что задыхаюсь в этой атмосфере.

Но тот увлекся своим делом и ничего не слышал. Да и наивно было думать, что наши голоса преодолеют шум пропеллера, вертевшегося у него перед глазами.

Пеон оказался сообразительнее нас. Он перепрыгнул через поваленную пальму и, подойдя к хозяину, притронулся к нему рукой.

Тот обернулся, заметил посторонних и на секунду скрылся позади станка. Гул, показавшийся мне с улицы меланхолическим журчанием фонтана, мгновенно стих наполовину, а дон Алонзо, мужественно преодолевая загромождавшие двор баррикады, устремился нам навстречу.

Его черные узенькие глазки приветливо сверкали; физиономия расплылась в довольную улыбку, обнаружившую два ряда великолепно сохранившихся зубов под совершенно белыми усами.

— Добро пожаловать, Родриго! — услышал я, когда он, наконец, очутился рядом с нами. — Какому чуду я обязан твоим посещением моей берлоги?

— Сначала познакомьтесь... Русский журналист дон Мигуэль, мой новый друг, а это — тоже друг, но только старый, давно уж признанный, хотя никто не хочет признавать придуманного им триплана...

— Биплана, черт возьми!.. Запомни ты хоть это! Две плоскости...

— Я вспомнил, вспомнил!.. Не продолжай, пожалуйста, — довольно! Биплан — и баста!

Дон Алонзо пренебрежительно махнул рукой и обратился непосредственно ко мне:

— Ну, разумеется, биплан... Вы понимаете, сеньор? Но только усовершенствованный до *pес plus ultra*. Устойчивость феноменальна! Падает камнем и останавливается на какой угодно высоте. Виражи не нужны, планирующие спуски — тоже! Да что и толковать, — через неделю все будет кончено, и я вас приглашаю пассажиром...

— Через неделю?.. — разочарованно протянул вдруг Суарес.

— А что такое? — встрепенулся дон Алонзо.

— Как что?.. Мы послезавтра выступаем.

— Кто именно?

— Конечно, ты, дон Мигуэль, я собственной персоной, носильщики, проводники, короче говоря, — состав всей экспедиции внутрь территории Сан-Блас.

— Ну, это вздор! — категорически заявил изобретатель.

— Как вздор! А обещание?..

— Какое?

— Ты обещал свое участие в моей прогулке.

— Не может быть!.. Не помню.

— Охотно верю, — голова твоя битком набита различной ерундой и для разумных мыслей в ней не остается места.

— Дон Мигуэль, вы лично считаете разумной затею сеньора Суареса?

Я что-то промычал и с остервенением начал крутить усы.

Но «наш общий друг» не унимался...

— Нехорошо, Алонзо, — укоризненно покачал он головой. — Ты обещал, я на тебя рассчитывал, определил твою долю в барышах, а ты вдруг говоришь: «не помню»... В коммерческих делах такое поведение недопустимо.

«Ну и коммерция, — подумал я, — ведь этакая наглость!..»

Но, против ожидания, толстяк смущился.

— Теперь я вспоминаю, — пробормотал он, краснея, как пион.

— Еще бы!..

— Да, вспоминаю... Но я бы попросил тебя, Родриго, отсрочить...

— Отсрочить наш отъезд? Нет, это невозможно!

— Не то!.. — протестующе воскликнул дон Алонзо. — Не отъезд, а время моего присоединения к остальным. Ты мне укажешь место, а я через неделю прилечу к вам на моем биплане.

— С точностью до часа?

— До десяти минут!..

Суарес нахмурил брови. Изобретатель тревожно наблюдал за выражением его лица. Меня так и подымывало положить конец этой нелепой сцене, сказав бедняку, что он абсолютно ничего не обещал Родриго, — я в этом был уверен.

Но тот меня предупредил...

— Прекрасно, — произнес он тоном, достойным древнего жреца. — Я соглашаюсь, но не забывай, Алонзо, что аккуратность — основа и залог успеха любого коммерческого дела!

— Я буду это помнить...

— Тогда смотри.

Суарес вынул записную книжку, вырвал из нее один листок и, уверенно набросав на нем какой-то план, вручил его сияющему от радости изобретателю феноменального биплана.

Десять минут спустя мы уже выходили из усадьбы...

— Скажите мне, Родриго, — спросил я, остановившись на углу, — подозревал ли этот несчастный дон Алонзо, за полчаса до нашего прихода, о цели вашего визита?

— Едва ли... Правда, я ему и раньше говорил о территории Сан-Блас, но об его участии в моей затее не было сказано ни слова.

— Тогда я нахожу вашу мистификацию по меньшей мере неуместной...

— Как знать!.. Я верю в проектируемый им аэроплан, а этакая штука может нам очень и очень пригодиться. По совести сказать, Алонзо нанес бы мне весьма чувствительный удар, если бы согласился выехать из Колона в одно время с нами... А так мы с ним увидимся как раз в ту пору, когда может случиться надобность в его услугах. И нам полезно, и ему...

— Ему?... Не понимаю!

— Старик проветрится. Нельзя же в его годы по целым месяцам дышать одним бензином, — ведь человек не саламандра... Теперь обратно, *mi querido*!*.

IV.

Как могут оба партнера проиграть

Несколько часов спустя мы выходили из вагона на перрон колонского вокзала.

Мне положительно начинал нравиться наш предводитель...

Последнее название звучало, положим, немного странно, так как теперь мне было ясно, что до поры до времени весь наш отряд прекрасно уместится в обыкновенной извозчичьей пролетке. Но, видно, прав был Гете, влагая в уста своего Мефистофеля многозначительную фразу: «В себя поверить вы должны, — поверят вам и все невольно»...

И я, действительно, поверил в организаторский талант сеньора Суареса...

— *Cochero!* — крикнул он, остановившись на подъезде,
— *Arrabal del campo santo!*... **.

Мы уселись, и дребезжащий экипаж запрыгал по каменным обломкам, сходившим здесь за мостовую.

* Мой дорогой.

** Извозчик! В кладбищенское предместье...

— Не нравится? — осведомился дон Родриго, мячиком подскакивая на сиденье.

— Я думаю!

— Придется потерпеть... Милейший наш приятель Педро разделяет мое мнение о прелестях культуры и предпочитает поменьше сталкиваться с нею.

— Сочувствую ему от всей души... Если такая мостовая считается здесь показателем культуры, я тоже предпочел бы обосноваться где-нибудь в предместье.

— Он так и сделал...

— Но вы забыли об одном, дружище!.. Кто этот неведомый мне Педро? Изобретатель противоядия против укусов черных скорпионов? Ясновидящий, могущий указать, где мы найдем участников для нашего похода?..

— Ни то и ни другое... Он — просто здравомыслящий и милый человек.

— И только?

— А этого вам мало?

— Родриго, я не шучу и спрашиваю вас серьезно...

— Простите, — я не понял. Сказанного обратно не беру, но с чистой совестью могу прибавить, что это — мой постоянный спутник в скитаниях по здешним дебрям. Вы удовлетворены, надеюсь?

— Еще бы. Теперь нас будет трое, а тридцать недостающих человек — ведь это пустяки!..

— Конечно! — невозмутимо согласился Суарес и приказал извозчику свернуть в какой-то переулок.

Толчки и грохот мгновенно прекратились. Колеса глубоко вошли в песчаный грунт, и экипаж наш шагом потащился между двумя рядами приземистых построек. Добравшись до угла, мы снова повернули и, наконец, остановились подле таких же решетчатых ворот, как у строителя биплана.

— Приехали... Сходите!

Родриго расплатился и потянулся к молотку.

В глубине «патио» я снова различил журчание фонтана и металлический звон струн, но, твердо помня о моей утренней ошибке, решил не разочаровываться больше.

Опять пропеллер... Помешались они на аэронавтике. Психоз какой-то, да и только!..

Но не успел еще мой спутник постучаться, как из-за решетки ясно послышались бравурные аккорды, а на секунду позже — и соответствующие им слова:

*Siempre me va Usted diciendo
Que se muere Usted por mi:
Muérase Usted y le veremos
I después diré que si!...**

— Однако! — воскликнул я, расхохотавшись, — у вашего приятеля очаровательный контральто...

Но Суарес нашелся.

— Я полагал, вас интересует Педро, а не состав его семьи! — и, взявшись за «альдабе», он несколько раз ударил им в замок решетки.

Пение сразу оборвалось, и в светлом полукруге, обраzuемом нишей ворот, вырисовалась женская фигура. Две три мгновения она стояла неподвижно, должно быть, всматриваясь в нас. Затем вдруг рассмеялась и подбежала к воротам.

Перед глазами у меня мелькнули тонкие пальчики, опустившиеся на засовы, и смуглое лицико девушки, лет восемнадцати, не больше, окруженнное крупными локонами черных, как смоль, волос....

— Сеньор Родриго! — услышал я ееibriрующий, гибкий голос. — Вот уж мы вас не ожидали!.. Батюшка еще сегодня говорил, что вы собирались уехать в Парагвай...

— Нет, нет, Аннита!.. Я никуда не уезжаю.

— Не верьте ему, сеньорита — уезжает! — вмешался я, заражаясь веселым настроением их обоих.

* Вы постоянно говорите,
Что умереть готовы за меня...
Ну что ж — сначала вы умрите,
И я скажу тогда, что — да!...



«Въ свѣтломъ полукругѣ вырисовалась женская фигура»...

— Куда же, *caballero*? — обдала меня девушка горячим взглядом своих огромных глаз.

— За золотом, в какую-то трущобу, обнесенную индейцами запретной чертой...

Аннита звонко рассмеялась.

— Я уже слышала об этом... И снова вам скажу, Родриго, что ваша затея не удастся...

По-видимому, акции Суареса здесь были не в цене. Но он этим нимало не смущился.

— Как знать!.. Ваш батюшка не из трусливого десятка.

— Возможно... Но дочь его труслива.

— Не заметно. Вы так непринужденно говорите с молодым и совершенно вам незнакомым *caballero*, что я...

— Что вы бы лучше помолчали и приберегли свое красноречие для более расположенных к нему людей.

— Я так и сделаю... Отец ваш дома?

— К сожалению — да. Но предупреждаю вас, Родриго: пока мой голос что-либо значит для него, он ни за что не согласится.

— Предположим... Но разрешите нам войти, — я не люблю разговаривать на солнцепеке.

Калитка распахнулась и, сопровождаемые очаровательной хозяйкой, мы очутились в «патио», заполненном цветочными клумбами и группами деревьев.

— Я вас не поздравляю, — злорадно шепнул я Суаресу.

— Гудение пропеллера было гораздо легче заглушить, чем голос сеньориты. Придется нам отправиться вдвоем...

— Посмотрим, — «цыплят по осени считают»... А вот и Педро!

К нам подходил загорелый до черноты старик, высокий и худой, как щепка. Но в каждом его жесте чувствовалась такая уверенность и сила, что я не без опасения пожал протянутую им мне руку.

— Добро пожаловать! — приветствовал он нас отрывистым, немного резким голосом, какой бывает у людей, подолгу лишенных общества себе подобных. — Я не ожидал вас, дон Родриго, но рад вам адски!.. Кажется, я поглупел

за это время, — сижу без дела и жирею, точно боров.

Если последнее действительно происходило, то слишком медленно и, на мой взгляд, почтенному сеньору не мешало бы до конца дней своих не шевелить ни одним членом...

Но Суарес не изменил своей манере.

— Да, вы заметно пополнели, — заявил он, сочувственно глядя на сухопарого верзилу.

— Вот видите... Проклятое безделье!

— Вы не горюйте. Мне кажется, что это поправимо.

— Серьезно?

— Как нельзя больше... Маленькая прогулка внутрь страны, где нет ни пароходов, ни дорог, — и вы опять придете в норму.

Старик насупился еще сильнее.

— Средство известное, — пробормотал он, стараясь не встречаться с глазами дочери, стоявшей со мной рядом. — Да только и думать мне о нем нельзя...

— Я не узнаю вас, Педро! Какая вас муха укусила?.. Нежужто вы не помните нашего разговора о территории Сан-Блас?

— Не вспоминайте, дон Родриго!.. Я слушать не могу!

— Но если вы забыли...

— Да не забыл я, помню!.. А только нельзя мне теперь ехать.

— Час от часу не легче! Что вас, параличом разбило, ослепли вы или оглохли?

— Тогда бы не обидно было. «Нельзя» не то, что «не могу»...

— За чем же дело стало? Что вам теперь мешает?

— А то, что умерла моя жена...

— Пять лет тому назад, я знаю.

— И поручила мне Анниту, — продолжал, не слушая его, старик. — Нельзя же мне ее оставить!

— С ней будет брат.

— Пачеко — вертопрах, мальчишка... Ему бы только «индейку общипывать» да на *tertullas* бегать. В кого он та-

кой вышел — ей-ей, не знаю!.. *

— Да, батюшка, — вмешалась вдруг Аннита. — С ним я ни за что здесь не останусь!.. Или меня с собой берите, или отказывайтесь наотрез!

Еле сдерживая смех, я обернулся, чтобы посмотреть на Суареса, и широко раскрыл глаза от изумления...

Убийственная, на мой взгляд, фраза произвела на него совершенно неожиданный эффект.

Он сразу просветлел, лукаво улыбнулся и, подойдя к девушке, преувеличенно низко поклонился.

— Благодарю вас, сеньорита! Вы разрешаете наш спор... Конечно, это единственный доступный для нас выход... Вам предоставляется свободный выбор, Педро: остаться дома и умереть от ожирения, или присоединиться вместе с вашей дочерью к отряду.

— Ты хочешь ехать? — воскликнул оцепеневший от изумления старик.

— Хочу! — ответила Аннита, закусывая губки, и так посмотрела на Родриго, что если бы взгляд обладал свойством умерщвлять, то мой приятель наверное бы распостился с жизнью.

— Не понимаю, — ведь ты всегда поддерживала мать, когда она меня упрекала за долгие отлучки из Колона.

— Тогда я была девочкой, теперь я взрослая и хочу ехать.

— Но как же так? Ты женщина...

— Мой пол здесь не при чем!

— Не пол, а твои юбки! Воображаю тебя в них где-либо в зарослях или в болоте!..

— Я могу быть в мужском костюме.

Против этого довода у Педро не оказалось возражений.

— Ну, если так, — решил он, разводя руками, — то делать нечего. Я соглашаюсь.

* «Pesar la pava» — любезничать перед окном, через решетку. На ter-tullas — на вечеринки.

— Великолепно! — воскликнул Суарес. — Наконец-то мы выбрались из тупика! Теперь остаются подробности, с которыми мы живо сладим... Выступление назначено на послезавтра.

— Можно.

— Нужны носильщики и люди, привычные к различным переделкам.

— А как вы нашли нашу последнюю партию, сеньор? Кажется, были теплые ребята.

— Да, ничего... Разве они теперь свободны?

— Бездельничают, как и я...

— Чего же лучше! Уведомьте их, Педро, и пусть являются ко мне за динамитом, ружьями и прочим багажом.

— Придут, не сомневайтесь... Вот только Хулио придется заменить, — зарезал он кого-то и теперь сидит в укромном месте.

Разговор их становился совершенно неинтересен для меня, и я охотно воспользовался предложением Анниты осмотреть клумбу каких-то редкостных цветов.

Мы молча шли по красноватому песку дорожки и инстинктивно прислушивались к постепенно удаляющимся голосам...

— Я, кажется, ошиблась... — произнесла вдруг моя спутница.

Я недоумевающе поднял на нее глаза.

— Мне думалось, что дон Родриго ни в каком случае не согласится на мое присутствие в отряде. Я только хотела избавить от него отца...

«Мало ли что нам хочется», — подумал я, припоминая вчерашний разговор мой с Суаресом, но вслух этого, конечно, не сказал...

Несколько минут спустя мы возвратились...

— А я ведь налетел! — с комическим отчаянием признался мне Родриго, когда мы выходили из ворот.

— Не замечаю.

— Да как же!.. Мне казалось, что Аннита ни за что не согласится уехать из Колона. Вот потому-то я и придрался к ее фразе!

Я не выдержал и расхохотался во все горло...

V.

На рубеже событий

Весь следующий день прошел в приготовлениях к отъезду...

Утром Суарес снова постучался ко мне в номер, и так как я теперь не помышлял уж о спасении, то ждать ему пришлось недолго.

— Вы исправляетесь, *querido myo!* — заметил он, входя, и с этими словами подал мне запечатанную телеграмму. — Я ее принял от посыльного, с которым встретился у входа...

«Что может быть доброго от Назарета», — подумал я, уныло глядя на аккуратно сложенный листок. Но все же сердце у меня забилось, когда я разорвал наклейку и развернул решающую все дальнейшее депешу.

Ну, так и есть!.. Я угадал не только смысл ответа, но и слова, в которые его облек редактор.

«Конечно, поезжайте». — Вот все, что мне пришлось прочесть на телеграфном бланке...

— Неясно, кажется? — осведомился Суарес не то с участием, не то с насмешкой.

— Чего уж яснее!.. Пожалуйста, прочтите.

Он протянул руку и мельком взглянул на телеграмму.

— Вот видите, я оказался прав, считая, что редакция охотно согласится на ваше предложение.

— Ну, я здесь не при чем!.. Инициатива всецело принадлежит вам одному.

— Не будем спорить о словах, — не в этом дело. Скажите лучше, предстоят ли вам какие-либо неотложные дела сегодня?

— Завещание писать не собираюсь...

— Тем лучше, — мы можем прогуляться.

— Опять?

— Не ужасайтесь, — всего лишь до моей квартиры. Я жду людей, обещанных мне Педро. Среди них могут оказаться заслуживающее вашего внимания субъекты.

— Но я не завтракал.

— Я предложу вам стакан кофе. Соглашайтесь... Ей-Богу, интересно!

— Ну, если так, то я согласен.

— Великолепно!.. Вы готовы?

— Как видите...

— Тогда пойдемте.

Я запер комнату на ключ и мы, не торопясь, вышли из отеля...

Родриго оказался прав, — все «теплые ребята», о которых упоминал страдающий от ожирения костлявый Педро, уже явились к его дому. Об этом нетрудно было догадаться еще на расстоянии квартала от него, где мы столкнулись с растерянно топтавшимся на месте альгавазилом. Почтенный блюститель общественного спокойствия и тишины волчком вертелся на перекрестке двух пустынных улиц и поминутно давал тревожные свистки. Только на них никто не отзывался, а сам он, вероятно, не мог решиться подойти к резиденции сеньора Суареса, откуда диким хором неслись и крики, и тренъканье гитар, и громкий хохот по меньшей мере нескольких десятков человек.

Заметив нас, бедняга перестал кружиться и бросился к Родриго.

— Сеньор, ради всего святого!.. Уймите вы своих гостей. Ведь это невозможно. В Колоне иностранцы... Что они подумают о нас!

— Что мы плохие патриоты.

Альгавазил превратился в воплощенный знак вопроса.

— Я еду прорывать второй канал между заливами святого Мигуэля и Ураба, и только эти молодцы приветствуют меня при отправлении... Вот как у нас ценят подвиги, которыми будет прославлена Панама!

— Caramba! — воскликнул совершенно ошеломленный представитель власти.— Я этого не знал. Второй канал!.. Пускай кричат, — я разрешаю...

Но данное им разрешение немного запоздало.

Едва только мы появились во дворе, где бушевала наша предполагаемая свита, как ее адский шабаш прекратился. Гитары полетели наземь, десятки распростертых на траве фигур вскочили и, обнажив головы, общим поклоном приветствовали Суареса.

Не отвечая на него, он медленно окинул взглядом столпившихся вокруг людей...

Не знаю, к какому он пришел выводу, но лично на меня все эти «теплые ребята» произвели впечатление не из приятных. Оборванные, в каких-то ярких полотнищах, служивших им плащами, они мне показались типичнейшими представителями той армии бандитов, с деяниями которой я познакомился на палубе «Гатуна». Здесь были и испанцы, коренастые, несколько неуклюжие на вид, и англосаксы, сплошь состоящие из мускулов и нервов, и французы, и уроженцы забронированного Вильгельмом «фатерланда», словом — разноплеменный сброд, объединенный какой-то таинственной причиной, которую я никак не мог себе представить...

Дальнейшие мои наблюдения были прекращены словами Суареса:

— Друзья мои, я рад вас видеть и очень сожалею о бедном Хулио... Ему, пожалуй, предстоит прогулка на новые места, откуда еще никто не возвращался.

Толпа разразилась криками, в которых выражение признательности переплетались с проклятиями по адресу полиции и указаниями на несовершенство действующих в республике законов.

Родриго выждал несколько секунд и продолжал:

— Вы уже знаете от Педро, что я готовлюсь к новому походу...

— Да, знаем...

— Он нас прислал сюда!..

— Мы все готовы!

Ответы посыпались, как град..

— Куда — я вам не говорю.

— Не надо!.. С таким начальником не страшно... Хоть к черту на рога!

— Тем лучше... На месте я все вам объясню. Условия вы знаете?

— Будьте покойны, дон Родриго, с вами не нужно торговаться...

— Тогда за дело... Андре!

Один из оборванцев выступил вперед, взял ключ, который Суарес держал в руках, и, не предлагая никаких вопросов, направился к массивной каменной постройке в глубине двора.

Несколько человек отделились от толпы и пошли следом...

Загрохотал замок, послышался лязг отодвигаемых засовов и дверь со скрипом распахнулась. На темном четырехугольнике прохода мелькнули какие-то ящики и скрылись, заслоненные вошедшими туда людьми.

Через минуту двое из них опять показались на пороге. Они шли медленно, держа в руках широкое рядом, а в нем сверкали тысячами искр ружейные стволы и металлические ножны больших изогнутых ножей. За ними появились поодиночке и другие... За плечами у каждого из них виднелся продолговатый деревянный ящик, снабженный двумя продольными ремнями, в которые были просунуты их руки. По два таких же ящика они держали на весу...

— Динамит! — коротко бросил Суарес, заметивший мое недоумение.

Я вздрогнул, в чем и сознаюсь без ложного стыда, а наша свита по-прежнему невозмутимо переносила эту предательскую кладь и один за другим опускала ящики у ног Родриго. Скоро они образовали целый вал, из-за которого не без затруднений выглядел «тропический скиталец».

Наконец, когда уже его голова была совершенно скрыта разнокалиберными жестянками консервов, поставленными на самый верх, он неожиданно вынырнул оттуда и крикнул в сторону амбара:

— По списку все!.. Не троньте остального.

Носильщики повиновались, и Андре запер двери на замок...

Суарес уселся на динамитный ящик, содержимого которого было вполне достаточно, чтоб в клочья разнести и нас и всю усадьбу, и занялся распределением поклажи.

Здесь с полным блеском сказался его опыт и чисто индивидуальное знакомство со способностями каждого члена этой шайки...

И часа не прошло, как беспорядочная груда жестянок, ящиков, мотыг и ружей исчезла, точно растаявшая на солнце ледяная глыба, а «теплые ребята» были нагружены елико можно.

Удостоверившись, что все в порядке, Родриго встал, сдвинул свою панаму на затылок и произнес напутственное слово, до мелочей напомнившее мне неподражаемую речь, которую я слышал на банкете. Тут было все... И великолепнейшая из республик, и гордость человечества в лице внимающих ему бродяг, и чуть ли не десять тысяч обезьян, глядящих на них с пальмовых вершин и ждущих новых подвигов от столь прославленных сеньоров. Свело все это, впрочем, к одному, — что завтра, в шесть часов утра, мы соберемся за заставой и выступим на юг.

Оваций не было... Но наши оборванцы учтиво поклонились и вереницей направились к воротам.

Здесь им пришлось немного задержаться, — голова шествия столкнулась с небольшой кавалькадой, только что въехавшей во двор...

Впереди, точно расшатанная бурей мачта, качался на седле уже знакомый мне дон Педро; с ним рядом ехал какой-то юноша, должно быть, его сын, а третий всадник был скрыт фигурами двух первых.

Они остановились, чтобы пропустить тяжело навьюченный космополитический отряд, и соскочили наземь...

— Аннита! — воскликнул я, только теперь увидев, кем оказался третий их товарищ.

— Сеньор?.. — с улыбкой отозвался очаровательный подросток и уж совсем по-женски протянул мне руку, которую я почтительно поднес к губам.

Непривычный для девушки костюм почти не отразился ни на изяществе ее фигуры, ни на врожденной грации движений. Мне она казалась восхитительной в обычной куртке цвета «хаки», в широких шароварах и гетрах желтой кожи, плотно охватывающих ее стройные, маленькие ножки...

— Воображаю, каким уродом я выгляжу теперь?

Я сразу не нашелся, что ответить, и этим временем воспользовался Педро для громоподобного возгласа:

— А вот и мы, сеньор Родриго!..

Точно кто-либо сомневался в этом!..

Но Суарес расцвел и с явной лестью — вот уж не ожидал! — почти пропел:

— Вы точны, как хронометр...

Они облобызались.

— А вот и недостающий вам тридцатый парень, — заметил поганый старикашка. — Как раз под этот ящик с динамитом!

Я посмотрел по указанному направлению и только тут увидел новую личность, явившуюся вместе с ними. Это уже был несомненно краснокожий и, притом, не из лучшего их сорта. Ростом пониже среднего, неповоротливый, с каким-то каменным лицом, на мой взгляд, абсолютно непригодным для передачи самого примитивного движения души...

Одет он был в черный, побуревший от времени сюртук и, вероятно, полагал, что остальные принадлежности его костюма имеют только второстепенное значение. По крайней мере, непосредственно из этого грязного мешка торчали голые ноги незнакомца и, в сочетании с сюртуком, сообщали всей его внешности вид, может быть, и экзотический, но чрезвычайно гнусный.

Снисходительный обыкновенно Суарес и тот немного растерялся...

— Индеец!.. — воскликнул он. — Вы предлагаете мне взять индейца?

— А почему бы нет? Этот из племени Сан-Блас.

— Тем более!.. Ведь вы же знаете, мой друг...

— Позвольте мне окончить! Его оттуда выгнали лет пять тому назад. За что, — он мне не говорил, но полагаю, — не за пустяшную вину, — иначе бы ему позволили вернуться... А так он уж сколько времени торгует глиняной посудой и никого из своих соплеменников не видит. Оно-то и лучше для него, — бедняга готов их всех на ключья разорвать... Терпеть не может! От одного имени «Сан-Блас», точно собака, зубы скалит.

Родриго встрепенулся...

— Это меняет дело. Я не подозревал за ним таких достоинств.

— Но я их знал и предложил ему воспользоваться случаем, чтобы посчитаться со своими. И сам он удовольствие получит, и нам будет полезен...

— Прекрасно сделали, мой друг!

— Вы, значит, принимаете его в отряд?

— Еще бы!..

По-моему, протеже сеньора Педро все время прислушивался к разговору. Но по одеревенелым чертам его лица не было никакой возможности определить, основательны мои подозрения или же нет. Во всяком случае, даже в последнюю минуту, когда в положительном смысле разрешился вопрос о его участии в походе, индеец продолжал стоять, как мексиканский истукан, не дрогнув, не шелохнувшись...

Отец Анниты обменялся еще несколькими словами с Суаресом и, подойдя к изгнанинику, что-то сказал ему на непонятном языке.

Тот даже не взглянул на старика, нагнулся, поднял ящик с динамитом, взвалил его на плечи и, не спеша, направился к воротам...

— Ну, вот и кончено! — с довольной улыбкой произнес Родриго. — Скажите, Мигуэль, какого вы мнения о наших людях?

— Такого, что ни с одним из них не пожелал бы встретиться в ночную пору.

— Вы совершенно правы...

— Это мне нравится!.. Так как же вы тогда решились отдать им в лапы и вашу собственную, и наши жизни?

— А очень просто! С такими мерзавцами, как эти господа, нужна особенная тактика, которую я, кажется, недурно изучил. Обнаружьте перед ними свое недоверие, боязнь — как вам угодно называйте — и вы погибли, могу вам поручиться. А так они воображают, что я считаю их за истых *caballeros* и, ради этой иллюзии, мне ни за что в мире не изменят. *Dixi!*..

VI.

Тридцать четыре белых и один индеец

Должен сознаться, что теория, с великолепным апломбом высказанная Суаресом, не слишком успокоительно действовала на меня. Отрицать некоторую обоснованность ее я, разумеется, не мог и, если бы дело шло о теоретическом разрешении столь же теоретически интересующего нас вопроса, то можно было бы вполне удовлетвориться безапелляционным выводом Родриго...

Но, к сожалению, та или иная точка зрения по данному вопросу могла иметь решающее значение для всех участников похода, и потому гипотеза, высказанная «тропическим скитальцем», казалась мне преувеличенно простой, простой до явного абсурда!

Впрочем, народный опыт, пришедший к выводу, что утро гораздо удобнее для размышлений, чем вечер после богатого впечатлениями дня, дал мне возможность воздержаться от протестов, хотя и не изменил моего взгляда на степень правоты Родриго...

Спать я улегся в самом минорном настроении духа и, встав на рассвете, убедился, что оно проснулось со мной вместе. Но делать было нечего, — все мои спутники уже оделись и, наскоро напившись кофе, мы вышли из усадьбы...

Не выехали, как я предполагал вначале, а попросту прошли в калитку и очутились на солнной улице Колона.

— А как же лошади?! — невольно воскликнул я, удостоверившись, что за оградой нет ни малейшего признака этого традиционного способа передвижения в «культурнейшей из всех республик».

Аннита, шедшая впереди меня, расхохоталась...

— Какие лошади, сеньор?

— Это мне нравится! Ведь не пешком же мы отправимся за заповедную черту Сан-Бласа...

— А, разумеется, пешком... Иначе нам не пробраться через заросли и топи.

Благодарю покорно! Еще один сюрприз... Вот уж не думал, что мне придется когда-либо соперничать с моим «европейски известным» тезкой — Михаилом Александровичем Берновым!.. Путешествия по способу апостолов Христовых имеют свою прелесть, но мне они никогда не улыбались, и я теперь окончательно озлился...

Суарес, сопровождаемый длинноногим Петро и Пачеко, был уже намного впереди, так что обуревающие меня чувства я мог излить только по адресу Анниты.

— Воображаю, —sarкастически заметил я, — во что превратятся ваши ножки через несколько часов такой прогулки!

Девушка мельком посмотрела на свои легкие кожаные сапоги и перевела взгляд на неуклюжие ботфорты, в которых тонули мои ноги.

Она мне не ответила ни слова, но искреннее сочувствие, светившееся в ее глазах, заставило меня смириться...

Я поравнялся с нею и, взяв ее под руку, чистосердечно попросил прощения.

— Какие пустяки, сеньор!.. Неужто вы вообразили, что я могу серьезно обидеться на вашу фразу?

— Вы незаслуженно добры ко мне?

— И докажу вам это советом снять свои ботфорты и нарядиться в точно такие сапоги, как у меня.

В целесообразности этого указания я не сомневался ни минуты. Мы еще не успели выйти из предместья, а ноги у

меня уж ныли и горели, словно погруженные в расплавленный свинец. К счастью, носильщики нас ждали в заранее определенном месте... Родриго приказал распаковать один из тюков, и моя добровольная пытка прекратилась.

После минутной задержки, вызванной этим пустячным эпизодом, Суарес проверил наличие багажа, осмотрел патронташи нашей свиты и мы, растянувшись на полмили, медленно двинулись на юг...

Впереди всех, с ящиком динамита за плечами, уверенно шагал индеец-изгнаник племени Сан-Блас, но только уж не в сюртуке, а в зеленовато-серой куртке, какие были разданы всем членам этой шайки. За ним, поодиночке, на равных интервалах, тянулись пятнадцать человек носильщиков, внушительно навьюченных и еще более внушительно вооруженных. Центральную группу составляли мы: самодовольно улыбающийся дон Родриго, его приятель Педро с сыном, Аннита и — рядом с нею — я. Сзади, окутанные облаком белой известковой пыли, шли остальные четырнадцать бандитов.

В течение некоторого времени, я, оборачиваясь, видел отдельные здание Колона, поднимавшиеся над складками волнистой почвы, но с каждым шагом они заметно понижались и, наконец, совсем исчезли...

Дорога осталась в стороне, так как мы, следуя за головой колонны, свернули влево и около часа шли по рыхлому песку, окаймленному пенистыми волнами океана. Затем снова переменили направление и начали подъем на горный кряж между Гатунским озером и морем.

Здесь нам впервые понадобились топоры и изогнутые местные кинжалы. Девственная пальмовая поросль, покрывшая все скаты, была оплетена таким невероятным множеством лиан, что не приходилось даже думать о беспрепятственном проходе через их хаотическую массу. Отточенная сталь сверкнула в лучах недавно поднявшегося солнца, живая сеть заколебалась, послышались испуганные птичьи крики и облачко зеленых попугаев мелькнуло в воздухе у нас над головами. Лианы падали, точно чудовищные змеи, покрытые зеленою кожей всех оттенков;

сверху на нас сыпался цветочный дождь, внизу мы натыкались на группы кактусов, вонзившихся в одежду своими острыми шипами, и хотя медленно, но неуклонно все глубже проникали в чащу тропического леса...

К счастью для нашего переднего отряда, она окончилась так же внезапно, как и перегородила нам дорогу. После нескольких часов борьбы, природа отступила; лес, словно ножом, обрезало, и перед нами был открыт путь на гребень горного хребта...

Там мы почувствовали себя гораздо лучше. Ноги, обутые в легкие, с мягкой подошвой сапоги, без затруднений находили точку опоры среди камней, полузакрытых редкой и блеклой травой. Вершины пальм темно-зеленым полукругом виднелись где-то далеко под нами, и солоноватый морской ветер свободно обвевал наши горячие от утомления лица.

Налево мы видели необозримую равнину океана, направо — южную часть озера, усеянную целым архипелагом островков, а впереди чернел еле заметный узкий перешеек — мост, соединяющий «культурную» Панаму с запретной территорией Сан-Блас...

Не знаю, что испытывали мои спутники в виду этой таинственной страны, но сердце у меня забилось отчетливыми, частыми толчками, словно в предчувствии еще не испытанных опасностей и страхов, которым мы добровольно шли на встречу.

— Ах, если бы не этот индеец! — подумал я, т. е. мне показалось, что подумал; в действительности же — высказал свою мысль настолько громко, что Аннита, стоявшая подле меня, вздрогнула от неожиданности и обернулась.

— Вам, Мигуэль, не нравится наш проводник?

Девушка впервые назвала меня по имени, без обязательного в таких случаях «сензор». В другое время я не придал бы этому ни малейшего значения, но теперь весь встрепенулся, точно охваченный разрядом электрического тока...

— Не удивляйтесь, — произнесла она и улыбнулась. — Нас ждут опасности, которые мы будем переживать все

вместе. В таких обстоятельствах люди сближаются гораздо скорее, чем при обычной обстановке. Я и теперь уж отношусь к вам, как к собственному брату...

«Как к брату»... Только-то!

И я почувствовал, как горечь незаслуженной обиды растворяется и ширится в моей душе...

Нет, положительно тропическое солнце странно воздействует на северян!..

И, только констатировав этот непреложный факт, я ощущал в себе способность к возобновлению неожиданно прервавшегося разговора.

— Благодарю вас и с радостью следую вашему примеру, *hermana tuya!** Вы меня, кажется, спрашивали о проводнике, Анните?

— Да, Мигуэль!..

Я с удовольствием заметил, что ее щечки покраснели...

— Мне он не нравится.

— Мне — тоже!

— Вот видите... А ведь Родриго на седьмом небе от воссторга. Вы помните, какой он благоглупостью ответил мне вчера на мой вопрос?

— Конечно... И дон Родриго был прав как нельзя больше.

— И вы туда же!

— Прав, по отношению к двадцати девяти белым, — продолжала, не слушая меня, Аннита. — Но только не к индейцу...

— Ну, с этим-то я еще, пожалуй, соглашусь... Мне тоже кажется, что психология человека белой расы и цветной — две вещи разные, так что подходить к ним с одной и той же меркой и глупо, и преступно. За эту ночь я постарался вспомнить прочитанные мною в юности «индейские» романы и к выводу пришел не из приятных.

— Вы им поделитесь с сестрой, Мигуэль?

* Сестра моя.

— Еще бы!.. И Купер, и Эмар, и прочие авторитеты по этой части все в один голос утверждают, что с точки зрения индейца предать врага — точно такой же подвиг, как и победа над ним в честной битве.

— Не понимаю только, кому он может нас предать?.. Наш проводник — изгнаник, у него нет племени, на родину его не принимают...

— На этом, вероятно, и основывает свои надежды Суарес...

— Но вы с ним не согласны?

— К несчастью!.. Наш новоизбранный товарищ едва ли благодарит судьбу за свое вынужденное пребывание в Колоне. Будь я на его месте и обладай свойственными дикарию представлениями о гнусном и великому, — и экспедиция на территорию Сан-Блас дала бы мне великолепный случай желанным гостем возвратиться к отрекшемуся от меня народу. Ведь тридцать четыре человека белых — это вполне достаточная жертва для искупления самого вопиющего проступка!.. Как вы находите, Аннита?

Она не отвечала...

Да и к чему? Я уже видел по ее глазам, что бедная девушка тревожится за нашу участь не менее меня, хотя и старается не обнаруживать своих сомнений.

Решительно объяснившись с Суаресом, — вот самый естественный поступок при настоящем положении вещей. Но, к сожалению, эта спасительная мысль пришла мне в голову немного поздно, — Родриго, полулежавший на земле, вскочил вдруг на ноги; его примеру последовали все другие, и несколько минут спустя мы в том же порядке, что и раньше, начали спускаться к перешейку...

В пути я раза два пытался уединиться с нашим самоуверенным вождем, чтобы побеседовать с ним на занимающую меня тему, но — напрасно! Сопровождаемый отцом Анниты, он упругим «индейским шагом» перебегал от головных людей отряда к задним и — обратно; у одних осматривал ремни, другим приказывал переобуться, у третьих обнаруживал какую-либо небрежность в упаковке выю-

ков; короче говоря — все его видели и, вместе с тем, нигде нельзя было его поймать...

Я, наконец, махнул рукой и решил отложить наш разговор до более удобного момента.

Случай для этого представился пять-шесть часов спустя, когда мы миновали последние отроги гор, прошли за перешеек и здесь остановились на ночевку на самом рубеже таинственной земли...

Удостоверившись, что все поели и, за исключением часовых, расположились в четырех палатках, окружавших пятую, поменьше, где поместилась девушка, Родриго несколько угомонился. Он отыскал меня и сразу огородил цепным каскадом своеобразных извинений:

— Уж не взыщите, *mi querido*, — я целый день от вас отмахивался, точно от болотного москита, но — верьте чести — не до того мне было! То же случится, вероятно, завтра и еще неоднократно — заранее простите! Иначе быть не может, — за нашими ребятами необходимо смотреть в оба, без няньки они ни к черту не годятся, да и не признают иного отношения к себе... Вы понимаете меня?

— Прекрасно понимаю и, в свою очередь, считаю долгом извиниться за надоедливость, с которой я добивался разговора с вами...

— Пожалуйста!.. В чем дело?

Я, по возможности коротко и скжато, передал Суаресу наши общие опасения: Анниты и мои.

Он выслушал меня, ни разу не прервав, но я при лунном свете видел, как с каждой новой фразой все глубже становились складки между его бровями, а глаза загорались зловещим огоньком...

— Благодарю вас, Мигуэль! Мне кажется, вы правы... Эй, кто там копошится у палатки — позвать сюда проводника!

Человек, любовавшийся луной, вскочил и со всех ног бросился исполнить полученное приказание.

Через несколько минут он возвратился...

— Его здесь нет.

— Как нет?! — рассвирепел Родриго.

— Я обыскал весь лагерь... Исчез и проводник, и один ящик с динамитом.

Возбужденные голоса их привлекли общее внимание. Все высыпали из палаток...

— В чем дело?.. Что случилось?

— Индеец убежал, — угрюмо ответил Суарес.

Точно общий вздох вырвался из нескольких десятков грудей, и наступила немая тишина...

Беспорядочно столпившиеся люди с тревогой посматривали друг на друга и молчали. Мне кажется, они боялись возможного ответа на одинаково тревоживший их всех вопрос:

— Как отразится это бегство на судьбе нашего отряда? Не осуждены ли теперь все мы поголовно на искупительную жертву за прошлые грехи изгнанника Сан-Бласа?...

VII.

Земля «Сан-Блас» заговорила

Мы долго не ложились спать...

Не спалось, вероятно, и носильщикам, — по крайней мере, из соседних трех палаток до нас все время доносился неясный гул их голосов, то утихая, то снова разрастаясь. Родриго хмурился, а долговязый Педро ожесточенно спорил с сыном, стараясь убедить того, что он единственный виновник принятия индейца в наш отряд...

— Ты только вспомни, — патетически взывал он к невозмутимому Пачеко. — Кто первый заговорил со мной о краснокожем негодяе!..

— Конечно, я.

— Вот видите, сеньоры! Он сознается, он не совсем еще утратил совесть, таскаясь по *tertullas*!

— Я вам сказал, что не мешало бы купить у этого Сан-Бласа несколько десятков кружек на дорогу, а вы...

— А я?.. Я согласился, скажешь?

— Нет, вы не согласились... «На кой черт эта рухлядь, — он сам нам пригодится!» — вот ваши точные слова. Вы тогда потребовали, чтобы Аннита отыскала вашу шляпу, и бросились его искать...

Старикашка побагровел от гнева и, вместо ответа, запустил в Пачеко дорожной сумкой, лежавшей у его постели.

Суарес схватил ее на полдороге и отшвырнул на место.

— Не горячитесь, Педро, — произнес он холодно и строго. — Вы сделали ошибку, об этом нечего и толковать... Хорошо еще, что ваш приятель сбежал от нас теперь, а не на несколько дней позже. Положим, этот номер в мою программу вовсе не входил, но я надеюсь, он мало отразится на дальнейших...

«Надейся, милый друг, надейся», — подумал я, укутываясь в «пончо». Посмотрим, как оправдаются твои надежды завтра!..

Но, к моему искреннему изумлению, Родриго и на этот раз не обманулся.

Правда, наутро все двадцать девять человек категорически отказались от продолжения пути, но Суарес невозмутимо выслушал их протестующие крики, закончившиеся общей просьбой о возвращении в Колон, и молча опустил руку в карман куртки. Уже знакомый мне Андре, явившийся выразителем общего мнения всей шайки, испуганно шарахнулся в толпу...

Я инстинктивно подошел к Анните и подготовил магазинку.

Но пустить ее в дело не пришло...

Родриго вынул руку из кармана и, вместо револьверного дула, мы в ней увидели продолговатый кожаный футляр. Он, не торопясь, раскрыл его и передал кому-то из толпы.

Носильщики так и облепили этот таинственный предмет...

— Показывай, Хосе!.. Что там такое?

Футляр переходил от одного к другому...

Суарес стоял, скрестив руки на груди, щурил глаза и улыбался.

И вдруг я явственно услышал чей-то дрожащий от волнения голос:

— Да это золото!..

— Кварц... Богатейший кварц! — не выдержал еще один носильщик.

— А вот и самородок!

Восклицания посыпались со всех сторон...

Родриго только и дожидался этого момента.

— Довольно! — воскликнул он, протягивая руку за футляром. — Теперь вы понимаете, в чем дело. Место, куда я вас веду, все состоит из золотоносных залежей и самородков. Возможно, что половина нас погибнет, но остальные возвратятся, принеся с собою золота, сколько его уместится в их поясах и ящиках от динамита. Решайте сами, стоит ли для этого рисковать своими головами и, если нет, — мы возвращаемся в Колон!..

Неистовые крики покрыли его последние слова.

Носильщики опять протестовали, но только уж в диаметрально противоположном смысле, чем несколько минут тому назад. Они теперь и слышать не хотели о прекращении похода за золотым руном Сан-Бласа...

Самые робкие из них, сравнительно, конечно, и те воспламенились возможностью внезапного обогащения и умоляли Суареса простить им их малодушное желание вернуться.

Он долго, с безмолвной укоризной, смотрел на провинившихся бандитов и, наконец, изрек свое прощение...

Аккуратно сложенный багаж мгновенно разобрали, палатки были свернуты, и наш отряд в прежнем порядке покинул лагерь. Единственной переменой было то, что впереди носильщиков теперь шел сам Родриго, взяв на себя роль бежавшего проводника.

Почва заметно понижалась, трава становилась все выше и сочнее, и какой-нибудь час спустя мы в ней буквально утонули. Я видел только ближайшего ко мне носильщика, а все другие исчезли без следа в зеленом волнующемся

море. Мы шли гуськом между двумя отвесными упругими стенами, и только узкая полоса примятых трав указывала направление, которого держались Суарес и головная часть отряда...

Впрочем, несмотря на это, идти здесь было гораздо легче и удобней, чем по вчерашним горным скатам, и я только досадовал, что мы не захватили с собою лошадей, которые без всяких затруднений могли бы преодолеть зеленое преддверие Сан-Бласа. Но скоро мне пришлось убедиться в ошибочности этой мысли...

Гладкая, как стол, поверхность степи постепенно начинала покрываться мелкими буграми; земля между ними становилась мягче; в воздухе почувствовалась сырость, и неожиданно по сторонам, сквозь поредевшую траву, сверкнули полосы воды. Местами мы подходили к ним вплотную и тогда могли невозбранно любоваться неподвижными тушами кайманов, лежавших у самых берегов. Колossalной величины лягушки поминутно срывались из-под ног и исчезали где-то в тине. В воздухе сплошными тучами стояли комары, так что я счел нелишним облечься в сетчатую маску, которой меня предусмотрительно снабдил Родриго и, опустив голову, внимательно выисматривал места посухе.

Но все мои старания были напрасны... Подпочвенная влага, сначала только заполнявшая следы идущего передо мной человека, теперь открыто сверкнула на солнечных лучах, заискрилась между стеблями тростников и окружила зелень кочек, на которых всеми цветами радуги переливались гибкие туловища змей. Мы уже по колени погрузились в воду и шли, производя возможно больше брызг и шума, чтобы хоть этим примитивным средством устрашающе воздействовать на психологию кайманов...

Мы, кажется, не ошибались. По крайней мере, я неоднократно видел, как эти бревнообразные, прожорливые твари испуганно бросались в сторону и исчезали под водой, не подозревая даже, что производимый нами шум, при более осмысленном отношении к нему, мог бы им гарантировать изысканный обед из наших трупов. Но, по-видимому, все их способности ушли на развитие силы челю-

стей, и «чемпионы» тропических озер вполне уподоблялись своим двуногим собратьям по искусству.

Можно было только радоваться столь благоприятному для нас явлению, но кашеподобная, густая тина, в которой тонули наши ноги, мало способствует развитию жизнерадостности в людях...

Я в этом наглядно убедился, когда мы остановились, чтобы поесть и отдохнуть, конечно, стоя, так как никому и в голову не приходило усесться на одну из кочек и завязать знакомство с ее игривым населением. Все сгрудились, поели, приподымяв для каждого глотка вуалевые маски и снова опуская их на лица; потоптались растерянно на месте и молча разошлись...

Почти весь день тащились мы по этим топям и только к вечеру заметили, что вода постепенно убывает. Камыш с каждой верстой густел и подымался выше; озера, мало-помалу, отходили в стороны и исчезали; береговая тина становилась более плотной, высыхала и, наконец, совсем исчезла.

Необозримая стена высоких трав опять на нас надвинулась и раздалась перед передними людьми отряда...

Но, против ожидания, эта степная полоса, действительно, была только стеной огромной топи, и полчаса спустя, пробравшись сквозь перепутанные стебли, мы очутились на опушке леса из кривых акаций и мимоз. За ним темнели на вечернем небе причудливые силуэты мазанильо, кокосовых пальм и иикаро...

Где-то невдалеке послышался торжествующий голос Суареса:

— Сеньоры! Мы перешли запретную черту Сан-Бласа...

Но нас гораздо больше радовало сознание того, что мы прошли трясину, и на его восклицание никто не отозвался...

Родриго недоумевающе пожал плечами и отдал приказание разбить палатки.

Утомленные тяжелым переходом люди точно забыли об усталости и дружно начали готовиться к ночевке. Тюки и ящики были опущены на землю. Несколько человек но-



«Мы очутились на опушке леса»...

сильщиков отошли в чащу, и через минуту оттуда послышались частые удары топоров, перемежающиеся с треском сухих сучьев. В темноте сверкнули искры, и огненные языки затрепетали над кострами...

Я переменил насквозь промокшую одежду и вышел из палатки, надеясь встретиться с Аннитой. За всю дорогу мы с ней перебросились двумя-тремя фразами, не больше, и я только теперь почувствовал, что этого мне мало.

Но осуществить мое желание оказалось гораздо труднее, чем я предполагал.

У кого я только ни спрашивал о ней — никто ее не видел... Наконец, судьба мне улыбнулась, и Пачеко, которого я нашел перед костром, поделился со мной своими сведениями о сестре:

— Аннита?.. Погодите, мне кажется... Конечно, да! Она мне говорила, что собирается пройти в мимозовую заросль за цветами.

— И вы ее пустили?..

— А почему бы нет? Раз девушка намеревается собрать букет, значит, в отряде кто-то есть, кого она им хочет осчастливить, а я в этом отношении не так суров, как мой родитель! — и юноша, лукаво улыбнувшись, наклонил голову, чтобы заглянуть под мою шляпу.

Но я его лишил удовольствия заметить мое невольное смущение, так как уже со всех ног бежал к указанной им заросли мимоз...

— Аннита, где вы?.. Отзовитесь!

Ответа не было.

Сердце у меня захолонуло в предчувствии какого-то неизбежного несчастья. Не замедляя бега, я углубился в рощу; острые шипы царапали мне руки и лицо, но я не чувствовал уколов и задыхающимся голосом по-прежнему кричал:

— Аннита!.. Милая Аннита!

Нигде ни звука.

Я, обессиленный, остановился...

И в эту же минуту сзади послышался топот бегущих ног, а через несколько мгновений рядом со мной очутился

Суарес.

— Что с вами, *mi querido*? Вы переполошили весь наш лагерь! Чего вы здесь кричите?

— Аннита!.. Где Аннита? — отчаянно воскликнул я и обеими руками вцепился в его куртку.

Родриго резким движением отстранил меня и выхватил электрический фонарик.

— Вы убеждены, что она была здесь? — коротко бросил он и опустился на колени.

— Да!

Пучок белого света скользил по низкой, точно подрезанной траве и вдруг остановился неподвижно, отраженный каким-то светящимся предметом. Это была хорошо знакомая мне черепаховая шпилька...

— О, Матерь Божия! — и Суарес вплотную лег на землю. — Ну, так и есть, — следы! Один, другой... Еще два новых!.. Теперь я понимаю.

Через секунду мы оба мчались к лагерю, крича изо всех сил:

— К оружию, друзья! К оружию!.. Скорее!

Перед кострами задвигались какие-то причудливые тени, и к тому времени, как мы поравнялись с ближайшей из палаток, все наши люди встретили нас с винтовками на перевес...

— Внимание, ребята! — воскликнул Суарес, с трудом переводя дыхание. — Сеньориту похитили индейцы. Произошло это полчаса тому назад, не больше. Они еще недалеко. Мы отправляемся в погоню. Кроме меня, идет дон Мигуэль, отец ее, Пачеко и шестеро из вас — кто пожелает. Все остальные, оставайтесь. Когда мы возвратимся, я не знаю. Возможно, через час, а, может быть, и завтра, к ночи. Не тревожьтесь! Никого к лагерю не подпускайте, — помните, что ваша жизнь и золото висят на волоске!..

Он не успел еще окончить, как уж полдюжины здоровых молодцов выступили вперед и остановились с нами рядом.

Пачеко трясущимися от волнения руками передал мне и Родриго наши ружья.

Все отправляющиеся проверили заряды в патронташах и вслед за Суаресом устремились к роще...

Сначала мы бежали, но, поравнявшись с местом похищения Анниты, должны были остановиться, чтобы не потерять оставленных индейцами следов. Свет электрического фонарика опять упал на землю; Родриго, низко нагнувшись, сделал пять-шесть шагов и, не колеблясь, направился в глубь леса. Наш маленький отряд не отставал...

Мы миновали мимозовую рощу, прошли густые заросли акаций и несколько свободнее вздохнули, добравшись до молчаливой колоннады высоких пальмовых стволов. Здесь было больше воздуха и света и не было ползучих трав, в которых мы путались и вязли раньше.

Суарес прибавил шагу, но тем не менее мне было ясно, что наша экспедиция продлится гораздо дольше, чем он предполагал. Прошло уже не меньше двух часов, как мы покинули стоянку. От времени до времени фонарик вспыхивал и освещал следы опередивших нас индейцев, но не было ни малейших признаков того, что мы их настигаем...

Я обогнал товарищей и поравнялся с Суаресом.

— Странно, — пробормотал он, не поворачивая головы.
— Все время мы идем в противоположном направлении от главного поселка. Эти места мне хорошо знакомы. Теперь у нас по сторонам лесистые бугры, потом будет ложбина, а за ней россыпи, к которым...

Сказанного дальше я не слышал...

Над головой у меня раздался короткий, резкий свист, затем толчок...

Я вскрикнул и упал.

И в это же мгновение тяжелый удар обрушился мне на затылок.

Мириады цветных искр мелькнули у меня перед глазами, земля заколыхалась, и я лишился чувств...

VIII.

«Muchos van por lana y vuelvan trasquillados...»

Первым моим впечатлением, когда сознание ко мне вернулось, было ощущение короткой ровной тряски, вызвавшей у меня в памяти картину недавней поездки на «Гатуне». Но почти тотчас же мучительная боль в затылке заставила меня окончательно очнуться, и я с невольным стоном приподнялся...

Вернее, — сделал попытку приподняться, но совершенно безуспешно и только тут заметил, что я вишу на воздухе, поддерживаемый дюжими руками четырех быстро идущих дикарей. Скуластая физиономия одного из них склонилась надо мной, осклабилась в улыбку и исчезла. Передние не обернулись...

Восток уже алел, окрашивая розоватой дымкой гряду серебристо-серых облачков. Кокосовые пальмы точно сквозь землю провалились и, вместо них, вокруг виднелась высокая трава, волнуемая предрассветным ветерком.

Сзади послышался шум голосов, гортанные выкрики и топот, с каждой минутой становившийся все ближе. Скоро он поравнялся с нами. Я повернул голову и сразу же увидел Суареса, окруженного целой толпой приземистых индейцев...

«Тропический скиталец» пренебрежительно посматривал на свою свиту и криво усмехался. Рядом шагал насупленный дон Педро, а на голову ниже их обоих то подымались над толпой, то снова пропадали два-три помятых сомбреро, должно быть, на наших соучастниках по происшествиям минувшей ночи...

Теперь все было ясно.

Похитившие девушку индейцы предвидели возможность погони за собой или узнали через лазутчиков о нашем выступлении за ними; устроили засаду и, в результате, мы все попались в эту нехитрую ловушку. Даже хванленая опытность Родриго, и та здесь спасовала! Но что же

будет дальше?.. Они могли нас перебить, но этого не сделали. Отсюда ясно... Какая ерунда! Конечно, мы все живы, но почем знать, не ожидают ли нас пытки, при которых сама смерть становится желанной.

Я вспомнил катарински замученных американских пионеров, оскальпированных и заживо сожженных на кострах, и сердце мое сжалось, а рука, свободная до локтя, невольно потянулась к волосам.

— Не беспокойтесь, *mi querido*, — раздался невозмутимый голос Суареса. — Здесь скальпов не снимают. Это — специфически северная мода, которой местные жители не признают... Я готов поручиться за целость вашей шевелюры.

Ну, слава Богу, — индейцы позволяют нам говорить, хоть в этом мы свободны...

— Родриго, ради всего святого, вы не узнали, где Аннита?

— Идет со мной рядом и с удовольствием пожмет вам руку, если вы только согласитесь отказаться от вашего комфорта бельевого ложа.

— Но ведь меня не отпускают!..

— Простите, — вас несут, так как считают, что вы после падения на камни не в состоянии идти. Простая любезность со стороны этих господ — и только!

— Но я уже пытался избавиться от их услуг, и никакого впечатления.

— Попробуйте лягаться, — подействует, даю вам слово!

Недолго думая, я затрепыхался, как пойманная рыба...

Поддерживавшие меня дикии мгновенно расступились.

— Прекрасно! — приветствовал мое освобождение Суарес. — Скорее подымайтесь — земля еще сырая...

Я вскочил на ноги.

Индейцы корчились от смеха, но мне было не до того. Толпа, окружавшая пленников, раздвинулась, и в глубине ее уже виднелась стройная девичья фигурка...

Через секунду я очутился рядом с нею...

— Благодарю вас, Мигуэль! Я слышала, как вы меня искали, но рот у меня был заткнут, и я вам не могла отве-

тить... Вы не представите себе, как тяжело мне сознавать, что я всему виной!

— Конечно, ты! — свирепо пробурчал ее родитель прежде, чем я успел ей возразить.

Но тут вмешался Суарес:

— Оставьте, Педро! — произнес он. — И несправедливо, и глупо упрекать ребенка... Тем более, что вся ответственность за этот инцидент должна была бы лечь на ваши собственные плечи.

— Благодарю покорно! В своем ли вы уме, сеньор?..

— Как нельзя больше... Вы не предупредили сеньориту, вы ей позволили одной уйти из лагеря, точно мы остановились не на опушке девственного леса, а в благоустроенном общественном саду. Дон Мигуэль, не знающий ни местности, ни здешних нравов, — и тот был перепуган, а вы?.. Так мог вести себя только закоренелый горожанин!

Старик побагровел при этом оскорблении...

— Впрочем, утешитесь, — продолжал Родриго. — Я тоже был хороши! Отправился в погоню, а вел себя, как школьник. Никаких мер предосторожности не принял... Люди переговаривались меж собою... Сам я раз двадцать зажигал фонарик. Индейцы могли вообразить, что мы их принимаем за кайманов, и были в праве напомнить нам о настоящих своих свойствах...

Но Педро не забыл только что нанесенной ему обиды.

— Вы не упоминаете о главном своем промахе, сеньор! — заметил он, ехидно улыбаясь.

— Разве? — чистосердечно изумился Суарес.

— Конечно! Кто, как не вы, распорядились, чтобы остающиеся в лагере спокойно дожидались нашего прихода и никуда не выступали? Вот они и будут там сидеть, а нас тем временем на медленном огне поджарят...

— Ну, это вздор!.. Что значат два десятка ружей против нескольких тысяч краснокожих.

— А все-таки...

— Пустое! Подумаем-ка лучше, нельзя ли выпутаться из беды при помощи наличных наших средств, рассчитывая только на себя...

Я мало надеялся на это.

Нас оставалось восемь человек, считая и Анниту, — трое носильщиков были убиты в схватке. Индейцы не сочли нужным нас связать, но все оружие: ножи, револьверы и магазинки благоразумно отобрали, так что относительная свобода, предоставленная нам, никакой неприятностью им не грозила. Ясно, что при таком положении вещей мы были беспомощны, как дети, и потому самоуверенность Родриго казалась мне лишь маской, которой он старался скрыть свои действительные чувства...

Немного позже я окончательно убедился в этом...

И четверти часа не прошло, как сосредоточенно молчавший Суарес вдруг насторожился и пристально начал всматриваться в даль.

— Что вы там видите, Родриго?

— Сейчас... Еще одну минуту... Ну, так и есть, — оправдывается самое худшее из всех моих предположений!

Я ничего не понимал...

Мы только что вышли из ложбины, и перед нами показался окутанный туманом поселок дикарей. От общей его массы отделилось несколько конусообразных хижин, и они резко выступали на фоне утреннего неба. В воздухе запахло гарью и жилем. Где-то залаяла собака, другие поддержали, и разноголосый хор их понесся нам навстречу.

Я вопросительно посмотрел на Суареса...

— Сейчас поймете... В прошлом году здесь было пусто, как у меня в карманах после того, как их обшарили индейцы. Должно быть, они заметили следы моего пребывания в этой ложбине и перенесли сюда поселок. Вполне естественная мера... Ах, Мигуэль, преодолейте свою гордость, склоните вашу растрепанную главу долу и смотрите! Вы попираете ногами благороднейший из всех земных металлов... Какой индийский раджа, какой султан может позволить себе эту роскошь — садовые дорожки, покрытые чистейшим золотым песком, не золотоносным — нет, а золотым, в буквальном смысле слова!.. А здесь ведь не аллея, не узкая полоска!.. Вся эта площадь — сплошные миллиар-

ды, подаренные Господом земле и охраняемые дьяволом Сан-Бласа...

— Охотно верю, но в данную минуту они меня нимало не прельщают. Вы, кажется, сказали, что факт перенесения поселка может иметь влияние на нашу участь.

— Я этого не говорил, но собирался вам сказать, не отрицаю.

— Надеюсь...

— Нет, лучше не надейтесь! Для меня — это смертный приговор, для остальных — не знаю. Ведь само существование запретной полосы обусловливается нежеланием индейцев, чтобы белые проникли в эту сокровищницу мира. Вы только подумайте, какой великолепный способ мщения! Мы их унизили, железом и огнем завоевали весь американский материк, загнали краснокожих в топи и леса, а сами начали междуусобную войну за обладание ничтожными частицами презренного металла... Презренного!.. Ха-ха! А вот они, эти полуобезьяны, полулюди, сидят над золотой бездной и продают нам глиняные черепки. Великолепно! Бесподобно!

— Родриго! Опомнитесь!.. Что с вами?

— Не говорите, Мигуэль, — мы не поймем друг друга. Вы — представитель цивилизованного мира, людей, стремящихся к определенной цели, а я — «тропический скита-лец», искатель впечатлений, не славы, не наживы, а только впечатлений... Их было много в моей жизни, но переживаемый момент настолько ярок, что я готов им кончить и успокоиться навеки... Я вас привел сюда, и наши победители потребуют меня к ответу. Клянусь, я приложу все силы, чтобы усугубить свою вину поступками, словами, чем угодно, лишь бы никто из вас не пострадал!.. Мне помнится, уже бывали precedенты, когда индейцы усаживали любопытных белокожих в лодки, снабжали их провизией и отпускали с миром. Главное — чтобы никто из них не заподозрил истинной цели вашего пребывания на терри-тории Сан-Бласа! Об этом я лично позабочусь...

И Суарес самоотверженно исполнил свое слово...

Сопровождаемые невероятным множеством индейцев, которые нас встретили перед поселком, мы медленно прошли между двумя рядами хижин и очутились на площадке перед какой-то внушительной постройкой. В архитектурном отношении ее моделью мог бы служить любой стог сена, но по грандиозности масштаба она, наверное, являлась единственным сооружением такого рода на всей территории Сан-Бласа.

Овальные листового золота щиты сплошь покрывали ее стены, точнее — скаты воронкообразной крыши, доходившей вплотную до земли. Ни окон, ни дверей я не заметил и, только подойдя поближе, убедился, что вход в эту машину все же существует, хотя и не соответствует ее размерам.

Он оказался неглубокой нишней, почти заполненной огромным самородком, служившим, вероятно, троном для престарелого повелителя туземцев. В данный момент, по крайней мере, на нем восседала какая-то костлявая фигура, обросшая седыми волосами и живописно драпировавшаяся в кусок оранжевой фланели...

По сторонам золотой глыбы рядами стояли воины с магазинными винтовками в руках, а у подножья трона мы имели удовольствие увидеть и нашего бежавшего проводника.

В нескольких шагах от этой группы конвоирующие нас дикари остановились...

Бывший горшечник выступил вперед и по-испански обратился к Суаресу:

— Великий вождь наш Мук-а-Мук-Ра-Па желает знать, что вы за люди и с какой целью перешли за заповедную черту Сан-Бласа?

Я, кажется, впервые услышал его голос и с чистой совестью могу сказать, что он как нельзя больше соответствовал внешнему виду ренегата...

— Передай этому старому кайману, — отчеканивая каждое слово, произнес Родриго, — что я тот самый белый, который год тому назад рыл золото в ложбине. Теперь я возвратился, чтобы найти удобную дорогу и, вырвавшись



«Костлявая фигура, живописно драпированная въ кусокъ
оранжевой фланели»....

отсюда, открою вашу тайну всем жителям Колона и Панамы.

Индеец перевел, и толпа яростно завыла... Десятки ружей мгновенно направились на Суареса, но тот уже всецело углубился в рассматривание таинственной постройки и не обращал никакого внимание на угрожающие жесты краснокожих.

— Вождь выслушал твои слова, — вторично загнусавил импровизированный переводчик. — Теперь ему известно, кто ты, но он еще не знает, зачем явились эти люди?..

— Скажи ему, что он хотя и сед, но не умнее годовалого осленка... Я их привел с собой, кажется, нетрудно догадаться! А для чего — это другое дело! В случае неудачи, я думал всю вину свалить на них, а самому остаться в стороне, добыть у вас пирогу и возвратиться морем к перешейку.

— Вождь говорит, что ты ошибся, и твоя хитрость его не обманула...

— Неужели?

— Вождь говорит, что ты умрешь...

— Но раньше ты, мерзавец!

Суарес подался всем корпусом вперед, протянул руку и кулаком ударил индейца в подбородок...

Тот хрюплю вскрикнул и упал.

Его товарищи не шлохнулись, считая, вероятно, что дело ограничится минутною потерю сознания. Дон Педро разразился упреками по адресу Родриго и кричал, что он вооружает против нас индейцев, но я прекрасно понимал, что мой несчастный друг действует по заранее обдуманному плану и только поражался величию его души...

Прошло, однако, пять минут и десять, а упавший по прежнему лежал, не шевеля ни одним членом.

Толпа заволновалась. Вождь вопросительно смотрел на Суареса.

— Жаль, что я незнаком с их диалектом, — небрежно уронил он. — А то бы посоветовал убрать подальше эту падаль.

Но краснокожие, кажется, поняли его слова и всей массой устремились к трупу...

— Давно бы так!.. Запомните этот прием, querido myo, — он может пригодиться. Удар по подбородку, по прямой линии к ушам... Вызывает сотрясение черепа, кровоизлияние в мозг и — баста! Второго уж не нужно, вы в этом убедились на примере... Ну, а теперь позвольте вас поздравить, caballeros! Мне, разумеется, не вырваться отсюда, но вас, я думаю, отпустят. После такого случая их жажда мести всецело обрушится на мою скромную особу... Вы возвратитесь, без золота, положим... Но что же делать! *Muchos van por lana y vuelvan trasquillados**. Так гласит опыт испанского народа, а уж ему ли этого не знать?..

IX.

Тропический балет

Человек вообще недалеко ушел от обезьяны. Теперь я в этом наглядно убедился. Мне было ясно, что Суарес, ради нашего спасения, сознательно идет на гибель, но чувство глубокой жалости к нему почти мгновенно у меня сменилось взрывом чисто животного восторга...

Набрасывая эти строки, я уж вижу, как читатель пре-небрежительно пожмет плечами и мысленно употребит по моему адресу какое-либо нелестное сравнение. И пусть!.. Не переживавшие таких моментов люди не в состоянии меня понять, но я пишу не сказку и изображаю действительность такой, как она была.

Единственное, что меня утешает в данную минуту — это сознание того, что все мои товарищи по плenу ничуть не лучше реагировали на безрассудный поступок Суареса. Они даже не скрывали своей мысли, что он обязан был пожертвовать собой для общего спасения, и шестидесятилетний старец Педро не постеснялся ему это высказать в глаза.

* Многие отправляются за шерстью, а возвращаются сами остиженные.

— Я вас прощаю, *caballero!* — с апломбом заявил он. — Прощаю ваши обидные слова и то, что вы вовлекли нас в это дело... Вы поступили, как *hidalgo* и мужчина, и можете спокойно умереть...

Родриго, насмешливо прищурившись, взглянул на старика, но не сказал ни слова.

Впрочем, мы бы и не могли его услышать... Невероятно дикий вой пронесся над поселком. Индейцы, столпившиеся подле трупа, так и шарахнулись по разным направлениям. Через минуту большая часть их стремительно неслась к ложбине, а остающиеся на площадке с угрозами и криком набросились на нас...

Над головами их сверкнули ружейные стволы и лезвия ножей.

Аннита прижалась ко мне, дрожа всем телом.

Толпа ревела, бесновалась, но дальше этого не шла...

Я ничего не понимал.

— Ах, черт возьми! — воскликнул вдруг Родриго.

Все мы мгновенно обернулись на этот возглас...

— Пачеко!.. Он убежал. *Caramba!*

Теперь все было ясно. Воспользовавшись тем, что общее внимание индейцев было привлечено неожиданной гибелью изменника-проводника, Пачеко отделился от нашей группы и, никем не замеченный, исчез.

Дон Педро ликовал:

— Ай да сынок!.. Ведь ловко это он! Не правда ли, сеньоры?

— Чего уж лучше! Собственномлично вас всех приговорил к казни...

Сказал это сразу осунувшийся, смертельно побледневший Суарес.

— Конечно, — продолжал он, отвечая на наши недоумевающие взгляды. — Своим побегом он ясно доказал, что чувствует себя неправым и не убежден в великодушии индейцев. Из жертвы моего чудовищного вероломства он сразу превратился в сознательного соучастника преступного похода. Теперь они узнали его карты и, по аналогии, решат, что ту же игру вели и остальные. Я понапрасну

распинался перед этим старым дураком в фланелевой портфире, — Пачеко вконец разрушил мои планы...

Оскорбленный в своей отцовской гордости, старик хотел что-то ответить, но было уже поздно...

Десятки дикарей вцепились в нас, как кошки, и силой потащили в глубь поселка. Перед глазами у меня мелькнули распустившиеся волосы Анниты, упавшие на обнаженное в борьбе плечо. Я сделал отчаянную попытку, чтобы вырваться из обхвативших меня лап, но безуспешно...

Через минуту какой-то темный полог закрыл от меня небо, и я тяжело грохнулся на землю. Сышен был удаляющийся топот ног и возбужденные возгласы индейцев...

— Не вы ли, Мигуэль?

— Родриго!..

— Вставайте-ка скорее, — нужно привести в чувство сеньориту!

Я, как безумный, бросился на голос...

В углу просторной хижины виднелась коленопреклоненная фигура Суареса, державшего в своих объятиях лизущуюся сознания Анниту. Я опустился рядом и, трепеща от страха, расстегнул в нескольких местах разорванную куртку. Сравнительно прохладный воздух обвеял тело девушки; она вздохнула, глаза раскрылись, и Аннита недоумевающе взглянула на наши встревоженные лица.

— Где мы?..

— В тюремной камере Сан-Бласа... — и, опустив девушку мне на колени, Суарес поднялся во весь рост. — В гигиеническом отношении она примерна... Какой простор, какая масса воздуха и света!

Он подошел к деревянной решетке, заменявшей двери, и оставался там несколько минут, пока Аннита приводила в порядок свои косы и костюм. Я продолжал сидеть, не шевелясь, и тупо смотрел в землю.

Родриго возвратился.

— Но где же все другие?! — воскликнула она. — Что будет с нами?

— На первое я вам могу ответить... Конечно, заперты в такой же хижине, как эта; быть может, даже рядом с ней. Ну, а второе известно только Богу.

— Родриго, скажите правду: ведь мы умрем?

— Все люди смертны...

— Сеньор, я не ребенок! Говорите прямо...

— К несчастью, да! Я больше не надеюсь на собственные силы...

— Благодарю вас! — и Аннита тоскливо посмотрела на золотое, гладкое кольцо, каким-то чудом оставшееся по-прежнему на ее ручке.

— Бедная девочка! — дрогнувшим голосом шепнул мне Суарес. — Я знаю эти кольца, — полые, наполненные ядом. Следите, Мигуэль, чтобы она прежде времени не соблазнилась возможностью мгновенной смерти. Средство решительное, — нужно его оставить на конец! Правда, рассчитывать нам не на что, но все же... Бывают случаи, когда и мертвые выходят из гробов...

Последние слова он произнес гораздо громче, с явной целью, чтобы их услышала Аннита.

Но девушка печально улыбнулась и только молча покачала головой...

Я понимал ее... Конечно, летаргия — не смерть, и даже погребенные в ней люди могут пережить своих не в меру поторопившихся друзей, если их своевременно высвободят из могилы, но никогда мне еще не приходилось слышать, чтобы воскрес кто-либо сожженный на костре или замученный у столба пыток.

Нас ожидала казнь... Какая — мы не знали и, разумеется, не будем знать вплоть до последнего момента, хотя ее подготовительная часть — внутренняя пытка, пытка духа, для нас уж наступила...

Индейцы это, по-видимому, прекрасно понимали. По крайней мере, стража, поставленная у дверей, делала вид, что совершенно нас не замечает. Все наши попытки добиться от этих церберов хотя бы намека на характер неизбежной казни не приводили ровно ни к чему...

Но я, кажется, ошибся и употребил слово «наши»... Вернее сказать, Анниты и мои, так как Родриго был неспособен на такую слабость. Сначала он даже нас старался удержать от этих унизительных, по его мнению, разговоров, но, убедившись в бесплодности своих усилий, предоставил нам полную свободу.

Мы широко воспользовались ею и, в результате, принуждены были сознаться, что Суарес избрал благую участь...

Он растянулся во весь рост на земляном полу, лицом к овальному отверстию в покатой крыше, через которое виднелся клочок неба, и что-то напевал.

Я в это время способен был заинтересоваться малейшим пустяком. Пусть это странно, непонятно, но сам факт я утверждаю. Быть может, мне чисто инстинктивно хотелось изменить ход моих мыслей и неотвязную идею казни заставить стушеваться перед какой-либо другой — не знаю, но так или иначе, а я внимательно стал вслушиваться в при-чудливый мотив романса:

Siempre me va Usted diciendo
Que se muere Usted por mi...

О, Боже!.. Ведь это пела и Аннита в день нашей первой встречи с нею. Пыльные улицы Колона, «arrabal del campo santo», тенистый патио и плеск фонтана... Как живо все это встало предо мной, как близко это все и как недостижимо! Четыре дня прошло с тех пор... Четыре дня — и сколько перемен за это время!..

Мне стало жаль себя до слез, до боли!.. Жаль бестолково загубленного счастья, которое я уж считал осуществимым... Хотелось жить, хотелось страстно, как никогда ни раньше, ни потом!

Я чувствовал, что задыхаюсь... Еще немногого — и я не знаю, что стало бы с моей бедной головой, но тут чья-то рука спокойно легла мне на плечо, и я услышал голос Суареса:

— Ну, полноте, дружище! Рассудок потерять недолго, а он вам теперь нужен... Не забывайте об Анните!

Эти слова заставили меня очнуться.

— Да вознаградит вас Бог, Родриго! — пролепетал я, краснея, точно захваченный на месте преступление.

— На небесах? Быть может!.. Ждать остается нам не долго. Ну, а теперь немножко философии, мой друг! В природе ничто не пропадает, ничто не создается вновь. Жизнь вечна и всеобща, а что касается ее внешних проявлений, так это ведь серьезного значения не имеет! Ну, посудите сами, разве не предпочтительнее во сто раз преобразиться в безобидный сочный стебель, чем коптить небо в шкуре какой-либо из этих краснорожих обезьян?.. Кстати, они там что-то затевают. Зовите сеньориту и посмотрим...

На площади действительно закопошились.

Мы подошли к дверям и сквозь решетку могли видеть, как к нашей хижине, то поодиночке, то группами сходились дики и постепенно образовали широкий полукруг, обращенный к нам открытой стороной. Затем они уселись и закурили трубки. Табачный дым синеватыми струйками поднялся кверху.

— Дразнить они пришли нас, что ли? — раздраженно пробормотал Родриго. — Я сам бы с удовольствием принял участие в их кайфе. Ведь ни одной сигаретки мне не оставили, двуногие кайманы!..

На этот раз он ошибался.

Прошло не более пяти минут, и в центре полукруга показались две человеческие фигуры. Вероятно, им принадлежала первенствующая роль в этом собрании. По крайней мере, дики приветствовали их нестройным долгим криком, и соблазнившие Родриго трубки все, как одна, исчезли.

Он недоумевающе пожал плечами...

Я тоже ничего не понимал.

Но вот один из этой пары, судя по росту, еще мальчик, неожиданно бросился на землю и начал извиваться точно в эпилептическом припадке. Другой, широкоплечий рослый парень, отскочил в сторону и, наклонившись, всматривался в конвульсивно трепещущее тельце. Потом он выпрямился, поднял руку, вооруженную копьем, и осторожно стал

подходить к своему партнеру. Тот перестал ломаться, скжалился и превратился в бесформенный коричневый комок...

Противник уже вплотную подошел к нему, как вдруг мальчишка выпрямил широко раздвинутые ноги и прикоснулся ими к своему мнимому врагу. Дикарь завыл, упал на землю и, в свою очередь, забился в корчах...

— О, Матерь Божия! — услышал я хриплый шепот Суареса.

— Родриго! Что вы?..

— Ах, негодяи!.. Ах, скоты!

— Да что такое? Что значит эта пантомима?

— Что значит... Помните, при первом нашем разговоре, я мельком упоминал о черных скорпионах? Так вот теперь вы любовались тропическим балетом, изображающим смерть человека, укушенного этой тварью!

— Но мы-то здесь при чем?

— Нас ожидает та же участь!..

Аннита со стоном откинулась назад.

Я похолодел, весь трепеща от ужаса и отвращения.

И в это же мгновение решетчатые двери распахнулись. Индейцы потоком хлынули в проход, схватили нас и, дико воя, потащили через площадь к таинственной постройке, которую мы видели сегодня утром...

Над общим гамом неслись пронзительные крики Педро, отдельные слова молитв и богохульства...

Освобожденная от золотого трона, ниша теперь зияла черной пастью.

Наши мучители ввалились в нее скопом, швырнули нас куда-то в темноту, расхохотались, взывали и исчезли...

X.

Ночь ужаса и смерти

Я отлетел на несколько шагов, наткнулся на круглый, гладкий столб и, уцепившись за него, остановился.

Вокруг, в кромешной тьме, барахтались и подымались упавшие на землю люди.

— Сеньоры! — послышался взволнованный голос Суареса. — Я назову вас всех по именам. Пусть каждый отзовется... Диас, Хосе, Франсиско, Педро, дон Мигуэль, Аннита?..

Все оказались налицо.

— Будьте внимательны, — возможно, что повторить я не успею... Индейцы нас приговорили к смерти, и мы должны погибнуть от жала черных скорпионов. Запомните: достаточно малейшего движения, чтобы привести этих тварей в ярость! Пока мы еще живы, — следовательно, они появятся здесь позже. Их, вероятно, принесут... Стойте, не шевеля ни одним членом, дышать старайтесь тише. Только бы продержаться до рассвета, а там мы всех их перетопчим... Мигуэль, еще раз отзовитесь, — я подойду к вам с сеньоритой...

— Сюда... Сюда! Идите на мой голос...

— Довольно. Замолчите...

Через минуту вытянутая вперед рука Родриго скользнула по моей груди.

— Ну вот... Мы снова вместе. Что это, столб?.. Прекрасно! Нам положительно везет... Прислонитесь к нему спиной, Аннита, и становитесь между нами. Так!.. Теперь, *querido muto*, постараемся сообразить, который час.

— Десятый, вероятно, — пробормотал я машинально, почти не сознавая своих слов.

— Хвалю, дружище! Вы, кажется, опомнились и взяли себя в руки.

Как бы не так... Похоже!

А Суарес, удовлетворенный будто бы обнаруженной им у меня отвагой, спокойно продолжал:

— Десятый, хорошо! Теперь светает рано. Нам предстоит пять-шесть часов полного оцепенения, не больше. Продержимся, пожалуй... Как вы полагаете, *amigo muto*?

Но я уже не мог ему ответить...

Входные двери приоткрылись. В образовавшуюся щель упал свет факелов и на мгновение озарил неподвижные

фигуры осужденных. Но как ни короток был этот миг, а все же я заметил, что в воздухе мелькнула какая-то бесформенная тень и что-то шлепнулось на землю...

— Скорпионы! — чуть слышно прошептал Родриго.

Свет тотчас же исчез...

Внутри постройки царила немая тишина. Я ясно слышал, как бьется мое сердце, и сдерживал дыхание, чтоб заглушить его удары.

Но напрасно... С каждым мгновением они звучали громче, переходили на виски... В ушах звенело.

— Мужайтесь, — почти неуловимо шепнул мне Суарес.

— Я слышу шорох...

Воображаемые звуки в ту же секунду прекратились.

Я напряженно всматривался в темноту и слушал...

Сначала ничто не подтверждало слов Родриго. Но вот по земляному полу пронесся легкий шелест, точно шуршащие сухой листвы, подхваченной порывом ветра.

К нам приближались скорпионы...

Аннита вздрогнула, вздохнула и начала клониться к полу.

— Берите на руки... Скорее!

Я подхватил бесчувственную девушку и судорожно прижал ее к своей груди.

А шорох надвигался...

Уже у самых моих ног что-то невидимо ползло и копошилось.

Не сила воли, а холодный, цепенящий ужас оковывал все наши члены...

В смертельном страхе, обливаясь потом, я чувствовал, как скорпион карабкался по тонкой коже сапога, потом спустился... За ним — другой... И наконец зловещий шелест ползущих гадов стал постепенно замирать.

Рядом слышалось ровное дыхание Суареса...

Прошло две-три минуты, и голова его вплотную приблизилась к моей.

— Благодарите Господа, — первая опасность миновала!.. Они теперь забыются по углам и если...



«Въ образованную щель унать свѣтъ факеловъ...»

Но это «если» уж случилось... Непроницаемую тьму вдруг пронизал отчаянный вопль гибнущего человека, и что-то тяжело упало наземь.

— Один, — сурохо произнес Родриго. — Позвольте, я возьму Анниту, — вы устали.

Но девушка, приведенная в чувство неожиданно прозвучавшим диким криком, уже пришла в себя и обеими руками обвила мою шею.

— Потом, мой друг!.. Я сам скажу, когда устану.

— Только без ложного стыда, — рассвет еще не скоро...
И он умолк.

Волосы Анниты смешались с моими волосами. Я чувствовал ее дыхание на своей щеке... И вдруг, теперь, в преддверии ужасной смерти, утратив последнюю надежду на спасение, я тихо-тихо прошептал:

— Аннита, я люблю вас!

Она затрепетала, но только легкий вздох сорвался с ее губок...

— Вы не отвечаете, Аннита... Вы сомневаетесь в моих словах. Правда, пять дней тому назад мы не подозревали о существовании друг друга... Но в эту страшную минуту, быть может, в последнюю минуту моей жизни, я снова повторяю, что я люблю вас, и буду счастлив, умирая, если вы скажете...

— Молчите, Мигуэль!.. Теперь я вам отвечу. Я молчала, так как боялась, что только увеличу ваши муки, сказав, что я... что я люблю вас тоже!..

И губы наши слились в долгом беззвучном поцелуе...

И в это же мгновение отчаянный, невероятно дикий вопль заставил нас обоих содрогнуться.

Не говоря ни слова, Суарес вырвал Анниту из моих объятий и я, стуча зубами, весь превратился в слух...

Но крик не повторился.

— Нехорошо! — шепнул Родриго. — Мы, кажется, в более выгодных условиях, чем остальные. Благодаря столбу нам легче простоять, не шелохнувшись... Боюсь, что все они погибнут. Устанут ноги — и конец!..

И, точно подтверждая это, из темноты послышался протяжный стон.

— Мария Дева!.. Не могу я больше, не могу...

— Он хочет лечь, несчастный!

Через секунду я уловил глубокий вздох опустившегося на землю человека.

Руки у меня тряслись, как в лихорадке. В висках стучало...

Ну, так и есть!..

Короткое, испуганное восклицанье и тотчас же — кровь холодающий вой затравленного зверя.

— Третий...

Аннита беззвучно плакала, прижавшись лицом к груди Родриго.

Быть может, Педро уже умер — мы этого не знали. Искаженные предсмертной мукой голоса погибших исключали какую бы то ни было возможность определить по ним, кто в данную минуту бьется в конвульсиях на земляном полу...

Один из четырех, по-видимому, уцелел, но кто он — это было только Господу известно.

Суарес выждал несколько минут, желая, вероятно, чтобы мои взбудораженные нервы немного улеглись, и передал мне девушки обратно.

Я молча ее обнял и замер в предчувствии финальной сцены этого кошмара.

И она вскоре разыгралась...

Сначала, где-то в стороне, послышалось лающее, хриплое рыданье, стихло и тотчас же сменилось непрерывным глухим стуком... Кто-то невидимый стоял на месте и часто-часто семенил ногами. Быстрота звуков нарастала, с каждой минутой становились они громче и скоро слились в неясный общий гул...

И вдруг обезумевший от страха человек воскликнул бешено и дико:

— А-а!.. Проклятые!.. Теперь не подойдет! Боитесь?..
Ха-ха-ха!

— Готово — помешался! — скорее догадался я, чем разбрал слова Родриго.

— Я птица... Вы понимаете ли, — птица! — неистово вопил несчастный. — Теперь я улетаю... — и он, сорвавшись с места, стремительно помчался в темноте.

Через мгновение столб дрогнул, — безумец с разбега налетел на стену, поколебал ее, и что-то со звоном посыпалось на землю... Топот опять возобновился. Теперь он, кашляя и задыхаясь, пронесся мимо нас и, описав круг, вернулся... Потом — второй и третий, и четвертый...

Я перестал уже считать...

Чувство полного безразличия к своей судьбе всецело завладело мною. Мысль не работала, и только слух мой инстинктивно следил за гулким топотом, то приближавшимся, то отходившим от столба. Дыхание бегущего с каждой минутой становилось чаще и, наконец, сменилось коротким, глухим хрипом... Слышно было, когда он проносился мимо нас, как что-то клокочет у него в груди и рвется...

Аннита за это время успела несколько раз перейти с моих рук к Суаресу и — обратно, а несчастный, кашляя и задыхаясь, все еще бегал, болезненно всхлипывал и спотыкался... Ноги его уже ослабевали, движения замедлялись.

Внезапно он остановился. В горле у него заклокотало...

Еще мгновение — и я увидел, как темная фигура тяжело рухнула к моим ногам.

Да, я увидел!..

Отверстие в центральной части крыши, совершенно слившавшееся с нею ночью, теперь подернулось голубовато-серой дымкой. Неясный свет отвесно падал внутрь постройки и скрупульно озарял центральную часть пола у основания столба. Все остальное было по-прежнему покрыто густой тенью.

Родриго вздрогнул, и бледное лицо его поднялось кверху, как бы приветствуя спасительный рассвет. Аннита, опустив голову мне на плечо, не шевелилась.

Голубоватый клочок неба с каждой секундой становился ярче. Вот промелькнула по нему нежная розовая дымка, растаяла, и тотчас же горячий сноп солнечного света ослепляюще ударили мне в глаза...

Ночной кошмар исчез, но его жуткие следы остались... В разных местах, у скатов крыши, где еще трепетали сумеречные тени, виднелись три скорченных, оцепеневших в судорогах трупа. Четвертый неподвижной массой лежал у наших ног.

Суарес протиснулся между столбом и мной и заглянул в лицо Анните.

— Она без чувств... Тем лучше, — ведь это Педро свалился от разрыва сердца! Стойте по-прежнему, мой друг, не шевелитесь, а я позабочусь о приведении в порядок наших дел...

Он отошел, а я, прижав к себе девушку, следил за ним глазами.

В двух-трех шагах Родриго вдруг остановился и указал рукой на пол.

Я посмотрел...

На гладко утрамбованной земле отчетливо виднелся огромный паукообразный скорпион. Брюшко ужасной твари, покрытое короткой черной шерстью, едва заметно колыхалось, но сам он оставался неподвижен.

Суарес поднял ногу и наступил на скорпиона.

— Один!.. Теперь поищем остальных.

Пристально глядя на пол, он медленно ходил вокруг столба и постепенно увеличивал диаметр описываемых кругов. Прогулка эта все чаще прерывалась, и по коротким восклицианиям Родриго я мог судить тогда о результатах...

—Четвертый!.. Пятый!.. А вот и целое общество собралось. Мило!.. Семнадцатый... Двадцатый...

На третьей дюжине счет прекратился. Суарес уже ползал на коленях, осматривал все закоулки, но новых жертв не находил.

— Довольно, Родриго! Возвращайтесь и уберите этот труп, а то придет в себя Аннита и увидит...

— Да, кажется, уж можно... Храм пуст, алтарь разрушен и божество в моем кармане!

Я похолодел от страха... «Не помешался ли и он?» — сверкнуло молнией в моем мозгу.

Но Суарес уже был здесь, нагнулся над телом Педро, схватил его за плечи и оттащил куда-то в угол...

Через минуту он вернулся.

— Теперь позвольте-ка мне сеньориту, а сами можете передохнуть... Да, кстати, пока я буду над нею хлопотать, засуньте руку в мой боковой карман, — вы там найдете преинтересную вещицу.

Абсолютно ничего не понимая, я передал ему Анниту и, опускаясь на пол, исполнил странную просьбу Суареса...

В руке у меня очутилось что-то тяжелое и скользкое, оказавшееся, при рассмотрении, грубо сделанной золотой статуэткой скорпиона.

— Вы помните, — спросил Родриго, продолжая растирать грудь девушки, — как что-то загремело, когда несчастный Педро вообразил себя крылатым? На него тогда свалилась стойка, сплошь увшанная такими же игрушками, как эта... Мы в храме, Мигуэль! Индейцы принесли нас в жертву обожествленным скорпионам... Дарю вам экземпляр на память. Он не особенно изящен, зато оригинален и достаточно массивен, чтобы служить прекрасным пресс-папье...

Я собственным ушам не верил.

— Родриго! И вы еще надеетесь, что мы спасемся?

— Теперь, конечно!.. Во-первых, никто из краснокожих войти к нам не посмеет, — ведь мы не станем сообщать им, что скорпионы перебиты. Во-вторых, даже узнав эту новость, они ни за что в мире не решатся посягнуть на жизнь неуязвимых чародеев... А в-третьих, *тво querido*, завтра, в одиннадцать часов утра, к нам прилетит Алонзо на своем биплане. Хотелось бы мне знать, что запоют тогда индейцы?.. Но тише, — девушка, кажется, очнулась!

Аннита глубоко вздохнула, ресницы ее дрогнули, глаза раскрылись...

— Где батюшка? — услышал я ее испуганный, звенящий голос.

И прежде, чем кто-либо из нас успел ответить, она уже взглянула в темный угол, где лежал труп ее отца, вскочила и, зарыдав, бросилась ко мне...

XI.

Родриго Суарес «проснулся»

А утро разгоралось...

Тропическое солнце не знает полумер. Поднявшись на небо, оно считает своим долгом не только освещать ста-рушку-землю, но и обжигать беспорядочно разметавшиеся по ней материки. Его отвесные, белые, как расплавленный металл, лучи иголками вонзаются в древесную листву, пре-одолевают ее толщу и пламенеющим дождем уходят в поч-ву...

Правда, огромный купол храма, с единственным окон-цем наверху, колоссальным зонтом раскинулся над нами и предохранял от наступающей жары, но стены его все-таки нагрелись и воздух становился спертым, пропитанным своеобразной затхлостью закрытых помещений.

Само собой понятно, нам было не до этих мелочей, но мы их все же замечали. Они являлись признаком того, что долгожданный день уж наступает, но не для нас одних... Ин-дейцы его тоже ждали, чтобы убедиться в нашей смерти. Вокруг святилища давно уже гудела разноголосая толпа; у входа слышался топот дикарей, но ни один из них, по-ви-димому, не решался распахнуть плотно притворенные две-ри храма...

— Вот видите, — пожал плечами Суарес. — Я не ошиб-ся... Они предпочитают не встречаться с оригиналом боже-ства, которому примерно служат в его скульптурных дубли-катах. Голые пятки этих проходимцев являются, действи-тельно, их ахиллесовой пятой!..

— А не догадаются ли они, — опасливо заметил я, — как-либо иначе заглянуть к нам?

— Глагол, употребленный вами, верен, но время не го-дится... Прислушайтесь, и вы сознаетесь в своей ошибке...

Я насторожил уши.

На внешнем скате крыши явственно слышался какой-то шорох. Вот зазвенел золотой щит, коснувшись краем о

соседний, и уже выше легкая кровля задрожала. Кто-то карабкался к оконцу в центральной части свода...

— Ложитесь на пол! — воскликнул Суарес. — Скорее!.. Нам выгоднее казаться жертвами, а не победителями скорпионов.

Но было поздно...

Пока мы прислушивались к шуму у нас над головами, другой дикарь, взбирающийся с противоположной стороны, уже просунул голову в оконце, и темная тень ее отчетливо обрисовалась на земле.

Благодаря резкому переходу от солнечного света к царившей в храме полумгле, он мог нас не заметить, но общее движение всей нашей группы не ускользнуло от зорких глаз индейца...

Он что-то крикнул, и толпа внизу завыла.

— Баста!.. Чудо нашего воскресения из мертвых подтверждено и признано народом. Чумазый акробат становится пророком...

— Оставьте ваш неуместный тон, Родриго!.. Скажите лучше, что нам делать?

— Это зависит от большинства... Кажется, голоса их разделились... Впрочем... Нет, это слишком глупо!.. Неужто я ошибся?!

Он на секунду замер, точно пытаясь что-то разобрать в яростных воплях дикарей, и вдруг, схватив меня за руку, отчетливо шепнул:

— Скажите девушке, чтобы она подготовила свое кольцо... А сами приготовьтесь к смерти... Они сообразили... Сейчас сюда ворвутся!

Но прежде, чем я успел осмыслить весь ужас этой фразы, двери широко распахнулись, и в образовавшемся просвете показались свирепые лица краснокожих.

Дрожа всем телом, Аннита уже сорвала с пальчика кольцо и поднесла его к губам...

И вдруг толпа остановилась... Вой сразу оборвался, и только наверху, на кровле храма, что-то кричал открывший нас индеец.

Еще минута — и дикари, как стадо перепуганных овец, шарахнулись обратно. С отчаянными воплями, давя друг друга, запрудили они дверную нишу, прорвались дальше и обратились в паническое бегство. Площадь мгновенно опустела...

Я недоумевающе смотрел на Суареса.

Он молча улыбался...

— Родриго! что это такое?

— Мы спасены... Идем отсюда! — и, увлекая нас обоих, он выбежал из храма.

Теперь я понял...

Вверху, отчетливо рисуясь на фоне голубого безоблачного неба, реял спускающийся к земле аэроплан. С каждой секундой отчетливей гудел пропеллер; все больше становилась чудовищная птица, распрестершая свои крылья над поселком.

— Какая уверенность в моей особе! — не то насмешливо, не то растроганно заметил Суарес. — Спускается в заранее определенном мною месте, хотя и видит вместо обещанной пустыни несколько сот индейских хижин...

У меня ноги задрожали.

— А вдруг не спустится?..

— Ну, нет!.. Алонзо не охотник думать. Аэронавтика — единственный вопрос, достойный работы его мысли. Все остальное он предпочитает принимать на веру.

— Дай Бог!..

— И даст, будьте уверены, дружище!

Родриго не ошибся...

Равномерное постукиванье мотора прекратилось. Биплан остановился и камнем упал книзу.

В трех-четырех саженях над площадкой он плавно задержался, накренился вперед и на минуту позже уже катился по земле...

Из-за руля виднелась сияющая физиономия Алонзо.

— Buenos días, señorita! Buenos días, caballeros! Como están Ustedes?

— Прескверно! — ответил за всех нас Суарес, но тон, которым он произнес это многозначительное слово, явно про-

тиворечил его смыслу. — Нет, нет!.. Сиди на месте, не спускайся! Мы хотим совершить пробный перелет. На скольких пассажиров рассчитана твоя машина?

— На четырех, кроме меня, не больше!..

— Аннита, поднимайтесь!.. Я помогу вам... Еще немногого. Так!.. Переступите через эту жердь... Прекрасно!

— Родриго! что это значит?.. Объяснись! — перебил изобретатель Суареса, помогавшего девушке взобраться на сиденье.

— Да так... Курьезный эпизод! Местные обыватели хотели нас прикончить и, появившись ты на минуту позже, мы бы уже витали в небесах, т. е. не мы, а наши души. Но это безразлично...

— Но я не опоздал, надеюсь? — и дон Алонзо торопливо извлек откуда-то часы. — Одиннадцать без двадцати!..

— Нет, ты прилетел на сутки раньше.

— Что? — широко раскрыл глаза толстяк. — На сутки?..
Невозможно!

— Однако ж, так... Которое теперь число?

— Четвертое, конечно!

— А я так думаю, что третью... Садитесь, Мигуэль! Наши друзья опомнились и, как мне кажется, готовятся к прощальному салюту.

Через секунду я был на месте...

Действительно, все переулки, выходившие на площадь, были запружены вооруженными толпами индейцев. Подойти ближе они, по-видимому, не решались, но, глядя на них сверху, я заметил, что несколько десятков ружей уже направились в таинственную птицу...

— Родриго! — отчаянно воскликнул я. — Не медлите!
Ради всего святого, поскорее!

Он уже начал подыматься, как вдруг раздались выстрелы, и пули в нескольких местах пробили крылья аппарата.

Суарес еле заметно вздрогнул, остановился на ступеньке, и я, не веря собственным глазам, увидел, что он спускается обратно...

— Вспомнил! — раздался неожиданно торжествующий возглас нашего пилота. — Я рассчитал, что мне понадобится двое суток для приведение в порядок крыльев, а сделал это за день... Вот и причина всей ошибки! Но где же ты? Родриго!

— Здесь! — спокойным, но неестественно тихим голосом ответил Суарес. — Пускай пропеллер в ход и улетай, дружище! Я и без твоих объяснений знаю, что ты для коммерческих предприятий не годишься...

— А ты-то как же?.. Родриго! С ума ты сошел, что ли!

— Я ранен и притом смертельно. Спасайтесь, господа, не ждите!..

Я, как безумный, бросился к лесенке, чтобы спуститься вниз, но Суарес, уже полулежавший на золотом троне Мука-Мука, остановил меня движением руки.

— Ни с места, Мигуэль!.. С минувшей ночи вы не при надлежите себе лично. Только Аннита... Одна Аннита имеет право на такую жертву! А мне она к чему?.. Вы помните, у Кальдерона — «*la vida es sueno!*»... * Теперь я просыпаюсь...

С каждой секундой голос его звучал все тише, лицо бледнело...

Он сделал последнее усилие и еле слышно повторил:

— Я про-сы-паюсь...

И с этими словами благородная голова Родриго откинулась на спинку трона. Глаза его померкли и закрылись... Все было кончено!

Вокруг загрохотали ружья...

Весь содрогаясь от рыданий, Алонзо протянул руку к рычагу.

Завыл пропеллер, биплан качнуло, и он, действительно, как сказочная птица, плавно поднялся над землей...

И золотая глыба, на которой уснул навеки Суарес, и храм, и хижины поселка — все это неслось куда-то в пропасть, безостановочно, неудержимо.

* Жизнь — это сон.

Крохотные фигурки дикарей метались по площадке и стреляли в воздух. Шальная пуля попала в руль и рикошетом задела плачущего толстяка...

— А, так!.. — рассвирепел он. — Дон Мигуэль, пожалуйста, нагнитесь! Там, под сиденьем, бомбы... Швырните одну вниз.

Я с наслаждением исполнил эту просьбу, и блестящий стальной мячик молниеносно прорезал пустоту...

— Ты видишь, бедный мой Родриго! — воззвал куда-то в пространство авиатор. — Ты был неправ, — я знаю толк в коммерческих делах!

Но мнимая осведомленность этого седоголового ребенка произвела совершенно неожиданный эффект...

Вместо короткого сухого треска, который мы могли бы услышать, после взрыва поднялся столб огня, раздался страшный грохот и наш биплан подбросило, как щенку. Мы еле усидели. Мотор остановился. Весь аппарат трещал и содрогался, точно живое существо...

Меня вдруг осенило...

Ведь перед храмом все время оставался ящик динамита, украшенный у нас проводником-индейцем!

Теперь все было ясно.

Неведомый «тропический скиталец» был погребен, как древний повелитель Вавилона! Поселок испепелен ужасным взрывом, десятки и сотни дикарей убиты и, вероятно, горы трупов лежат теперь на месте храма, прикрывшего своими обломками их общую могилу...

Вокруг нас, в воздухе, мелькали какие-то бесформенные клочья... Один из них свалился на крыло биплана, и снизу простирило кровавое пятно.

Да, я не ошибался!..

Но теперь наша месть за смерть Родриго готова была обрушиться на нас самих.

Аэроплан почти не слушался руля, не действовал пропеллер, и зеленеющая масса леса неслась навстречу аппарату, как волны океанского прибоя...

Сеньор Алонзо повернул к нам свое растерянное, побледневшее лицо.

— Мы, кажется, погибли, — пробормотал он глухо. — За спуск-то я ручаюсь: ветром нас сносит на опушку...

— Так в чем же дело? — перебил я.

— Взгляните вниз!

Я посмотрел и инстинктивно просунул руку под сиденье, где в специальных гнездах лежали бомбы...

По земле, размахивая ружьями, сплошной толпой бежали дикари. Биплан значительно опередил их, но спуск с каждой минутой становился круче, и ясно было, что нам от них не скрыться.

— Бросайте же!.. Чего вы ждете?

Снаряд прорезал воздух и с треском разорвался...

Три или четыре индейца повалились, но остальные перепрыгнули через распластеренные тела убитых и продолжали мчаться за бипланом.

К нам уже долетали их яростные вопли. Раздался выстрел, и пуля со звоном ударила о лопасти винта...

— Вторую! — скомандовал Алонзо.

Последняя оставшаяся бомба упала на бегущих...

На этот раз они остановились.

Мне посчастливилось, — не меньше десяти индейцев с отчаянными криками свалились на траву, обрызганную их собственной кровью...

Аэроплан уже катился по земле.

И вдруг я с ужасом заметил, что из леса, наперерез ему, несется еще одна вооруженная толпа...

— Погибли!

— Слава Богу!..

Первое восклицание принадлежало мне, второе — вскочившей на ноги Анните.

Я ошибся, — это был наш собственный отряд, предводительствуемый Пачеко и Андре...

На несколько секунд они остановились, чтобы пропустить мимо себя бегущий аппарат. Мелькнули знакомые нам лица, и за спиной у нас раздался залп из магазинок, направленный в ошеломленную толпу индейцев.

Мы были спасены...

Эпилог

Неделей позже я и Аннита стояли рядом на палубе трансатлантического парохода, только что вышедшего из Колона.

Ноябрьские дожди еще не наступили, но накопившаяся в атмосфере влага давала себя чувствовать и заполняла воздух прозрачным, теплым паром, делавшим его каким-то бархатным, густым...

Вдали, окутанные туманной дымкой, виднелись берега Панамы.

Но я смотрел не в сторону покинутого порта, а левее, к югу, где темным облаком вздымалась береговая линия Сан-Бласа...

Сколько тайн, заманчивых и страшных, скрывается в лесах и топях этого неведомого миру уголка! Сколько опасностей мы пережили там и как они невероятны мне кажутся теперь!...

В двадцатом веке, когда все человечество тоскует о непосредственном общении с природой, задыхается в каменных громадах городов, в веке радио, беспроволочного телеграфа и невидимых лучей — и вдруг воскресла фантастическая сказка, которой не поверят даже дети!

Конечно, не поверят! Я сам почти не верю...

Но нет!.. Разве кошмар — смерть благороднейшего из всех людей, каких я только видел в моей жизни? Разве не стоит подле меня Аннита, моя жена, вместе со мной пережившая ночь в храме скорпионов? Разве не у меня в руках уродливый божок страны Сан-Бласа?..

Пускай мне не поверят, никто пусть не поверит, но — ради памяти Родриго — я не остановлюсь перед насмешками моих собратьев по перу, ни перед неизбежным скептицизмом читателей моих записок. Я шаг за шагом опишу все, что пришлось мне испытать с 27 сентября по 3 октября 1913 года, и пусть тогда считают не верящие «сказкам» люди, что рыцарь без страха и упрека, «тропический скиталец» Суарес — плод бесшабашной фантазии журнально-

го корреспондента! Я с ними спорить не намерен, — действительно, на нашей будничной планете нечасто появляются такие легендарные герои духа, как самоотверженный мой друг Родриго, «проснувшийся» для вечной жизни неведомого мира!..

Да, решено!.. Я напишу — и будь, что будет!

.

Теперь я это сделал...

Передо мной на столе лежит груда исписанных страниц, прикрытых тяжелым скорпионом. Свет электрической лампочки блестит и отражается на золотом божке Сан-Бласа...

Я подымаю голову, и со стены, из темной рамы, на меня смотрит насмешливо-печальное лицо Родриго.

Поверят?.. Не поверят!..

— Не в этом счастье, *mi querido!* — чудится мне его хорошо знакомый голос. — Не все ли вам равно? Что может быть реального в сем бренном мире? «*La vida es sueño...*»

Сзади слышатся полузаглушенные ковром шаги Анниты.

— Ты кончил, Мигуэль?

— Кончую, но...

— Но что же, милый? — и рука ее с безмолвной лаской опускается мне на плечо.

— Не знаю, как отнесутся читатели к моему правдивому и вместе с тем к такому невероятному рассказу...

— Зачем об этом думать? И в жизни, и во сне бывают разные минуты... То светлые, то темные, как ночь... Но все они проходят, все исчезают без следа. *La vida es sueno!..*

Портрет Суареса, казалось, улыбался... Прищуренные глаза смотрели на меня.

Я молча взял перо и подписал свое имя под заключительной строкой...

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

I.

В прекрасное июльское утро я, в сопровождении моего друга, дона Пачеко Гориа, выехал из Ассунсиона, рассчитывая к вечеру попасть на асиенду его будущего тестя, расположенную где-то за Ягвари.

Тропическая зима была теперь в полном «расцвете», — дожди уже прошли, но земля еще жила под влиянием принесенной ими влаги, а потому вокруг все было зелено и весело, и все усеяно цветами.

Еще задолго до отправления поезда заняли мы свои места на деревянной скамейке вагона первого класса грандиознейшей из парагвайских железных дорог: «Ассунсион-Парагвари», хотя, рискуя разочаровать своих читателей, я все же должен их предупредить, что расстояние между ее конечными пунктами равно всего лишь 72 верстам. Не думаю, чтобы эта цифра в точности соответствовала замыслам предпринимателей и инженеров. Указанная линия, главным образом, была рассчитана на перевозку табака, который является чуть ли не единственным предметом производства местности до Парагвари, но здешние женщины так привыкли пользоваться совершенно бесплатной доставкой его в порт Ассунсиона на своих собственных головах, что и теперь продолжают упорно игнорировать это легкомысленное нововведение. Стоит только взглянуть из окошка — и вы увидите, как по берегу длинного и светлого озера Ибираи, параллельно железнодорожному полотну, тянутся целые вереницы молодых и старых женщин, провожающих веселым смехом несущееся мимо них чудовище.

А там, за ними, среди роскошной зелени банановых садов и стройных групп деревьев, мелькают стены белых домиков, скрываясь по временам за невысокие холмы, блестящие под ярким солнцем свежей зеленью травы; а над

холмами поднимаются, разбросанные в капризном беспорядке, развесистые, массивные и чуть не черные апельсинные деревья, осыпанные светлым золотом плодов.

Спокойное, точно из расплавленного металла, озеро так и слепит глаза своим огромным зеркалом, которое отражает, освещая окружающий пейзаж снизу, убийственные лучи тропического солнца, обжигающего его с безоблачного неба. Все вокруг точно залито светом, точно купается в огне, принимающем самые неожиданные, самые фантастичные оттенки... Недаром в прежнее время аристократы Ассунсиона имели здесь свои загородные виллы, эстансии и «чакрас», — от которых теперь остались только полуразрушенные стены. Но и те, залитые солнцем, все еще продолжают улыбаться.

Положим, это издали, но и вблизи эти палаццо без окон и дверей, благодаря здешней природе, николько не напоминают собою трупы или мумии, а скорее — души, покинувшие свои мертвые тела. Как только человек перестанет заботиться о своем жилище, так сейчас же его оплетают лианы и паразиты в самом фантастичном и капризном беспорядке: гирлянды ползучих роз, глициний, бугенвилий и всевозможных других цветов массивной бахромой цепляются по пошатнувшимся карнизам и по ветвям одичалых померанцев; а на земле поднялся целый лес гардений или поле роскошных тубероз, на фоне которого грациозная латания вдруг выдвинула свой стройный и изящный силуэт...

Апельсинные плантации, сначала разбросанные в одиночку, становятся все гуще и гуще, и наконец мы уже едем по сплошному лесу этих деревьев, покрытых в одно время зелеными и светло-желтыми шарами своих плодов и ароматными цветами.

Я уже давно привык к ошеломляющей роскоши тропической растительности, но все же не мог не подпасть под обаяние этой чарующей картины и невольно задумался о том, каким гениальным мастером оказывается свободная природа по сравнению с жалким искусством человека; но голос дона Пачеко быстро вернул меня к действительности.

— Не уснули ль вы, querido amigo? Вставайте — сейчас приедем...

Поезд, действительно, замедлял уже ход, а еще немногого — и совсем остановился у платформы станции Парагвари.

II.

Было уже около полудня, а нам еще предстояло сделять верст 30 верхом, и потому мы, поговорив с сеньором кабильдо*, получили лошадей и поторопились выехать из городка. Дорога оказалась довольно удобной, так как все время приходилось ехать по густому девственному лесу, переходящему вскоре в сплошные заросли померанцевых деревьев, которые тянутся отсюда далеко к югу, почти на двести верст. Густые, причудливо изогнутые ветви и широкая листва образовали над нами сплошной свод, почти непроницаемый для солнечных лучей, и потому сравнительная прохлада, окружавшая нас теперь, начала благотворно сказываться на общительности моего спутника.

— *San Diego!* — воскликнул он после получасового молчания, окончательно убедившись, что его коротко остриженная голова совершенно недоступна для солнечного жара. — Не удивительно ли это, *mí querido*?

— Что?.. Этот лес?.. Да, я думаю, что ничего подобного нигде вы не найдете.

— Лес?.. К черту лес!.. Совсем он меня не интересует... А вот не удивительно ли то, что еду я теперь с вами в Ягвари, а обратно никогда уж не вернусь...

— Это еще что такое?

— Нет, не утешайте меня, сеньор!.. Погиб дон Паче-ко-Мария-Хуан и Хосе-Гориа... Погиб безвозвратно!.. До сих пор жил он, где хотел, и любили его все *doncellas***, а теперь

* Cabildo — сельский староста.

** Девушки.

приеду, обвенчаюсь с Хуаннитой — и прощай, мой бедный друг Пачеко!..

— Однако, и чудак же вы, amigo тво!.. Разве вас кто-нибудь неволил жениться на сеньорите? Вы же по ней с ума сходили в Ассунсионе...

— Как еще у меня уцелела хоть капля рассудка?!.. Да разве можно ее любить иначе? Ведь это ангел, Мигуэль, сущий ангел!..

— Нет уж, воля ваша, сеньор, а я ничего не понимаю!

— Caramba! И я едва ли больше вас... Но думается мне, что просто тяжело покончить сразу со всей прошлой жизнью; тяжело отказаться от старых привязанностей... — и, не ожидая моего ответа, он без всякого перехода затянул:

Los ojos de mi morena
Se paressen a me malas...^{*}

— Но ведь вы же любите Хуанниту?

— Люблю!.. Madre de Dios! Но и Долорес я тоже любил... а может быть, и теперь еще люблю! — добавил он не совсем уверенно.

— Долорес?..

— Ну да! Разве вы не заметили, Мигуэль, той маленькой лавандера^{**}, что еще позавчера встретилась с вами у меня?.. Вот-то любила меня!.. Никто так не полюбит.

— Но в таком случае?..

— Вы не знаете, зачем мы поехали в Ягвари?.. Ах, Мигуэль, Мигуэль!.. Это — старая история, как говорит любимый ваш поэт. Я люблю ее... Но что такое Долорес — прачка, поденщица, а я веду свой род еще из метрополии... Не могу, честь идальго не позволяет мне дать ей имя Гориа... И вот — *vidalita*^{***}, как поют в пампе... А кроме того, по совести говоря, кажется мне, что будь Долорес знатной *seno-*

^{*} Глаза моей любимой не нравятся мне очень...

^{**} Прачка.

^{***} Непереводимое восклицание, выраждающее грусть, печаль.

rita — так я не полюбил бы ее. Она хороша только как простая *níña*; в своем пестром *zagalejo** и с дешевым веером в немного грязной ручке; ну а Хуаннита — это королева...

*Los ojos de mi morena
Se paressen...*

— Пачеко, послушайте: как вы, однако, покончили с ней?..
Пение прекратилось.

— С Долорес?

— Да.

— Просто, сеньор кабальеро! Очень просто... Сказал, что я женюсь, посоветовал ей найти другого новио...

— И она ничего?

— Ничего... Посмотрела только на меня... Но как посмотрела! Лучше б мне никогда этого взгляда не видеть...

— Вы боитесь?.. Что же она вам может сделать?

— *Quien sabe!*..* — и дон Пачеко, опустив на глаза свое сомбреро, замолчал с таким видом, что исключалась всякая возможность дальнейших объяснений. Мне оставалось только пожать плечами и тоже замолчать.

III.

Лес становился гуще, а тропинка суживалась с каждым шагом... Теплый, немного сырватый воздух был пропитан спиртуозным запахом гниющих на земле плодов, — запахом иногда настолько сильным, что он щекотал ноздри, как нюхательный табак. Заинтересованный этим странным ароматом, я спрыгнул с лошади и поднял один апельсин, но съесть его не смог, так как мясо оказалось кислогорьким, а кожура выделяла ядовитый, разъедающий сок, благодаря которому губы мои распухли, и в них начался

* Платье.

* Кто знает...

невыносимый зуд. Но дон Пачеко все молчал и только один раз, когда я уже с отчаянием тер свой рот ладонью, он с неподражаемой вежливостью выразил сожаление о том, что не заметил моего рискованного опыта и потому не предупредил о его последствиях. Я, разумеется, поблагодарил, а затем мы уже не заговаривали друг с другом, пока, через час после захода солнца, не остановились перед воротами асиенды дона Педро Лопеса, отца прелестной Хуанниты.

— Ave Maria! — закричал насколько мог громко дон Пачеко, ударяя молотком в массивные ворота.

— Purissima y sin peccado concibida!* — последовал ответ, за которым открылась маленькая форточка, и оттуда выглянула какая-то физиономия с начавшими уже седеть усами. — Кто тут?.. А, это вы, дон Пачеко! A los pies de Us-ted... Сейчас открою...

Оконце захлопнулось, послышались шаги, лязг отодвигаемых запоров, и ворота со скрипом распахнулись, пропустив нас вовнутрь ограды. Несмотря на сгустившиеся сумерки, мне удалось окинуть беглым взглядом всю усадьбу, пока мы галопом подходили к веранде главного дома, совсем похожего на дворец или, вернее, на средневековый замок, хотя он и был построен всего в один этаж. Впрочем, я и не ожидал увидеть ничего иного, так как успел уже привыкнуть к общему типу домов богатых парагвайцев: это обычно очень солидно, очень крепко построенные, с толстыми стенами, с небольшими и редкими окнами, часто очень обширные квадраты, заключающие внутри себя дворы-patio, обнесенные галереями под навесами, покоящимися на толстых колоннах или массивных арках.

На пороге нас встретил сам дон Педро вместе со своей супругой и невестой моего приятеля. На почтительном отдалении позади них виднелись несколько пеонов с фонарями, бросавшими неуверенный красноватый свет куда-то в глубину темного двора. Мы поздоровались, причем меня

* «Чистейшая и без греха зачатая».

встретили так, как будто бы я был старинным другом всей семьи, а затем все очутились в обширном «комидоре» за коричневым столом, из какого-то местного дерева, на котором нас давно уже ждал ужин с неизбежным мате во главе.

Завязался общий разговор; в светлой комнате повеяло ароматом местных сигар, а дон Пачеко, казалось, совсем забыл свои сомнения и так смотрел на Хуанниту, что вчуже делалось завидно.

IV.

На следующее утро я проснулся слишком рано, и так как в доме все еще спали, то мне захотелось воспользоваться этим временем, чтобы подробней осмотреть усадьбу дона Педро. Я встал; стараясь не шуметь, оделся и благополучно выбрался из своей комнаты...

— *Buenos días, señor!* — раздалось у меня за спиной, как только я сошел с веранды. — *Como está Usted?*

Оказывается — вчерашний обладатель седеющих усов, разговаривавший с нами через бойницу в воротах. Молчать нельзя: невежливо.

— *Mil gracias, señor!..*

— *Señor extranjero** рано встает... Сеньору не угодно ли осмотреть наше хозяйство?.. Мариано вам покажет... Это я, сеньор, — добавил он, предупреждая мою попытку отыскать глазами названное им лицо. — Я майордомо Мариано Рокадо...

Оставалось только поблагодарить обязательного сеньора и воспользоваться его услугами, что я и поспешил сделать. Мы осмотрели с ним конюшни, табачный склад, винокурню и погреба; собирались, кажется, заняться машиной для размельчения мате, но тут мое внимание привлек какой-то странный звук, точно медленное хлопанье в ладони.

* Иностранец.

— Вы слышите?.. Что это такое, Мариано?

— *Lavanderas, señor!..* Там, за стеной, маленькая речка, даже — ручеек, и прачки сегодня полощут в нем белье... У вас на родине это делают не так?

— Должно быть, так, но я все-таки хотел бы посмотреть, можно?

— *Concédeame Usted esta gracia!..* *

С этими словами он повел меня к маленькой калитке, по мере приближение к которой звук медленных ударов становился все ясней.

Заскрипели ржавые завесы, — и я поневоле должен был залюбоваться. На дне неглубокого оврага струилась маленькая речка. Спокойная и чистая вода ее настолько была прозрачна, что совершенно ясно виднелся сквозь нее белый песок на глубине сажени. Огромные, с изумрудно-яркой зеленою деревья окаймляли ее излучистые берега. На этой стороне, где широколистные водяные папоротники и камыши вдруг расступались, образовывая ничем не занятый просвет, виднелся целый ряд стоящих на коленях девушек и женщин... Все они, смеясь и болтая, мерно ударяли вальками по лежащему перед ними белью; намыливали его и либо полоскали в ручье, либо же обливали водой из огромных кувшинов самой причудливой формы, расписанных странными, но не лишенными изящества рисунками. Все они были сделаны из высущенных парагвайских тыкв. У некоторых прачек, вместо валька, оказывался в руках обыкновенный белый камень, и нужно удивляться плотну, которое выдерживало его удары, не расползаясь на куски...

— Долорес! — вдруг закричал мой спутник.

Не знаю почему, но я при этом имени весь вздрогнул.

Одна из девушек подняла голову... Я уже и раньше обратил на нее внимание, но не потому, чтобы она была интереснее других, — хорошенъких и даже красивых лиц сли-

* «Сделайте одолжение...».

шком много среди местных женщин; но мне показалось странным ее поведение: она, как и другие, возилась со своим свертком белья, но, намыливая его даже чересчур усердно, по-видимому, очень мало заботилась о полоскание... Выполоскав одну штуку, она откладывала ее в сторону и принималась за следующую, но, покончив со всеми, снова начинала намыливать первую и, слегка ополоснув ее, переходила к другой...

— Что за глупости!.. Какое это у тебя мыло?.. — снова закричал Мариано, убедившись, что его слышат.

Действительно, в руках у девушки, вместо волокнистой «амола»*, был пучок какой-то светло-зеленой травы, похожей на связку молодых табачных листьев.

Долорес рассмеялась.

— Это не мыло, дон Мариано! — крикнула она. — Белье уж вымыто...

— Так что ж ты делаешь, *rog todos demonios*?**

— Это индейская трава, сеньор... Чью *camisa**** натрую, тот уж непременно в меня влюбится... Не взять ли ваншу, дон Мариано?

— Нет уж, благодарю, — я и без того готов в тебя влюбиться... А вот ты мне дай свое приворотное зелье...

— Нельзя, сеньор, — всю силу потеряет, — и Долорес швырнула свой сверток на середину речки.

Вероятно, к нему был привязан камень, потому что он сразу потонул.

— Давно ли у вас эта девушка, Мариано? — спросил я у старика, когда уж мы вернулись в асиенду.

— Давно ли?.. Вторые только сутки, сеньор... Она из Асунсиона; нанялась поденно... Ну, благодаря свадьбе донны Хуанниты, стирки теперь много. Отчего и не взять...

Сомнений больше не оставалось, — это, конечно, та самая Долорес, и потому я, поблагодарив майордома, поспе-

* Растительные волокна, заменяющие мыло.

** «Ради всех дьяволов...».

*** Рубаху.

шил к Пачеко. Однако, мой приятель отнесся более чем равнодушно к этой новости.

— Что делать, *mi querido*?.. Ведь я не виноват, — очевидно, самой ей захотелось еще больше себя помучить, присутствуя на моей свадьбе... А впрочем, быть может, она уже исполнила мой совет... Помните, о другом новио?.. Ведь она при вас же говорила об этой траве?

— Да, при мне... Но я не думаю, чтобы можно было так скоро успокоиться...

— *Quien sabe?!*.. — ответил Пачеко своей любимой фразой и переменил разговор.

Я замолчал, а так как к нам вскоре присоединилось и остальное общество, то я совершенно забыл о своих утренних тревогах и с удовольствием принял участие в общей верховой прогулке и в проследовавшем за ней веселом завтраке. День, как нарочно, выдался довольно жаркий, и потому поездка порядочно всех утомила, так что к концу завтрака оживленный разговор стал уже заметно ослабевать, а после кофе дон Педро, оказавшийся откровеннее других, сознался, что он чувствует настоятельную потребность в отдыхе и посоветовал нам всем последовать его примеру. Дамы протестовали, но слишком слабо, и через полчаса мы разошлись по своим комнатам для «сиесты».

Не знаю, долго ли я спал; но думаю, что да, так как свежее постельное белье, перемененное, вероятно, утром, оказалось самое чарующее действие на мой усталый организм.

Едва только коснулась моя голова подушки, как я уже уснул; а проснувшись, почувствовал, что это произошло помимо моего желания; что что-то потревожило мой сон, но что — я никак не мог понять.

Несколько минут я пролежал с закрытыми глазами, пытаясь забыться снова, но мне это не удалось. Странная тревога постепенно овладевала моим рассудком и дошла до того, что я, наконец, не смог противиться ей дольше. Потом инстинктивно поднялся я с постели и направился прямо в комнату Пачеко; но, по-видимому, моя боязнь оказалась безосновательной, — здесь все было благополучно: мой друг спокойно и крепко спал на своей постели; окно, выхо-

дившее в густой зеленый сад, было открыто и, должно быть, ветер внес через него древесный лист, который лежал теперь на лице у Пачеко. Успокоенный, я уже хотел возвратиться в свою комнату, как вдруг столкнулся на пороге с Мариано.

— Сеньорита просит вас, кабальеро, и сеньора... — он указал на спящего. — Думают поехать на лодке; все уже готово.

— Хорошо... Я разбужу его... Вставайте, Пачеко! — произнес я, подходя к постели.

Спящий и не шевельнулся. Я повторил то же громче, — но с таким же результатом, и тогда со страхом, в котором не стыжусь признаться, коснулся его руки. Рука была холодная, окоченелая...

Должно быть, мое слабое восклицание оказалось слишком громким и ужасным, потому что бледное лицо ушедшего было Мариано тотчас же снова появилось у дверей. Он быстрым взглядом окинул комнату и, отстранив меня рукой, подошел к постели и низко наклонился над телом бедного Пачеко. Теперь и я услышал подавленное восклицание, в котором ясно звучал ужас; старик выпрямился, вынул из-за пояса свой нож и осторожно стал разрезать расшитую шелками куртку мертвого.

— Я знаю, что это... *Madre de Dios!* Сейчас увидите, сеньор... Не подходите близко...

Распоротая ткань раздвинулась, открыв белую грудь рубашки, с которой в то же мгновение скатился какой-то коричневый комок, похожий на молодую птичку. В то же мгновение опустился и нож Мариано, пригвоздивший его к полу. Передо мной в последних конвульсиях лежал исполинский ядовитый паук из породы агана, укус которого причиняет почти мгновенную смерть. Бесформенное тело, покрытое рыжеватой шерстью, передернулось; мохнатые лапы сделали еще несколько движений — и отвратительное существо стало безвредным.

— Бедный кабальеро! Такой молодой и такая смерть! — рассыпал я, точно сквозь сон, угрюмый голос Мариано. — Недаром я тогда почувствовал, что что-то будет; недаром

я боялся... Помните, там на берегу? Вы не понимаете меня? Да, это удивительно, сеньор: есть трава, — я ее не знаю, только запах мне известен, — и это чудище так на нее падко, как ленивец на мед диких пчел... Индейцы ее собирают... Если есть у вас смертельный враг, — не нужно для него ни винтовки, ни ножа: надушите этой травой его белье — и «он» придет, с часового расстояния придет... Мой отец, —давно это было, — получил вот такую куртку от одной ниньи, которую он бросил. Страшная смерть!.. Бедный сеньор! Бедная Долорес!..

Я наклонился над постелью: действительно, от простыни был слышен острый и сладковатый запах какой-то неизвестной мне травы, — «приворотной травы», при помощи которой Долорес, если и не вернула своего Пачеко, то все же не отдала его другой...

ФАЗЕНДА ДОННЫ МАНУЭЛЫ

I.

Шумная, волнующаяся толпа людей в длинных черных сюртуках и цилиндрах была первым впечатлением, подаренным мне рио-жанейрской набережной, когда я, наконец, после томительного переезда через океан, ступил на берег Южной Америки.

У меня мелькнула мысль, что я попал сюда во время проводов или же встречи какого-нибудь высокопоставленного лица, — но это предположение почти тотчас же и рассеялось...

Все эти господа, то с кривыми, то со сплюснутыми носами на своих донельзя смуглых физиономиях, поголовно, без всяких исключений, были облачены в дурно сшитые и еще хуже сидящие черные или бывшие черными сюртуки и в точно такие же цилиндры, из-под которых виднелись жесткие и курчавые волосы их обладателей. Словом, — толпа, какую менее всего можно было ожидать встретить здесь, под тропиками.

Впоследствии, положим, я узнал, что вся бразильская интеллигенция считает фешенебельные костюмы, носимые в Европе только вечером, единственными достойными такой передовой и просвещенной нации, как они, и потому современные шляпы и широкие светлые костюмы предоставлены исключительно неграм да туристам-европейцам.

Но тогда я этого не знал и безуспешно обращался к различным черным господам, пытаясь объясниться с ними и по-французски, и при помощи немногих известных мне испанских слов.

Результаты в обоих случаях оказывались самые плачевые: ни один черносюртурчик меня не понимал, и только, наконец, чуть ли не десятый, быстро взглянув на окружающую нас толпу, указал рукой на стройного, еще молодого человека, одетого в какую-то светлую и легкую материю...

Я поблагодарил и со всех ног бросился к нему, боясь потерять его как-нибудь из виду...

Французский язык и тут оказался непригодным, но испанские фразы произвели желаемый эффект...

Он серьезно выслушал мое повествование, поясняемое, за недостатком слов, красноречивой мимикой и, стараясь говорить возможно медленнее и ясней, начал спрашивать:

— *Señor* — иностранец?

— Да.

— Путешествуете по делам или *de diversion?*...*

— Для удовольствие.

— Специально по Бразилии или думаете заглянуть и в пампу?..

— Разумеется... Начал я с Рио только потому, что меня слишком утомил долговременный переезд через океан на многолюдном эмигрантском пароходе.

— В таком случае, быть может, вы присоединитесь ко мне... Я тоже иностранец-уругваец и сегодня возвращаюсь домой... Следующего парохода ждать не стоит, — он отойдет только через десять дней, не раньше, — а вам, не зная языка, здесь будет очень скучно.

— Как через десять дней?..

— Да, *señor*, — пароходы европейских линий во время дождливого сезона в Рио не заходят, чтобы избежать карантина в устье Ла-Платы, а суда местной «национальной компании» отходят на юг в очень неопределенные сроки, так как пассажиров мало, грузового движения совершенно нет — и они работают себе в убыток...

— Но ведь я не видел города...

— Мало интересного... Да и на обратном пути успеете его посмотреть, а мы теперь внутри страны побываем, в Коретибе, — сестра моя там замужем. Право, *señor*, послушайтесь меня и прикажите нести ваши вещи на этот пароходик... Познакомимся: дон Хулио Верляс...

Я назвал себя.

* «Для удовольствия».

Не особенно мне было приятно, вместо отдыха в Рио-Жанейро, переходить с одного парохода на другой. Но перспектива десятидневного сидения здесь улыбалась мне еще менее, и я предпочел из двух зол выбрать меньшее, последовав совету моего знакомого.

— Поторопитесь, *caballero!* Уж был звонок.

— *Se pued en tomar los billetes en el mismo vapor?..**

— *Si, señor!..* — и дон Хулио, подхватив меня под руку, устремился к небольшому, но беленькому и чистому, почти лоснящемуся пароходу, который начинал уж разводить пары.

II.

Не успел я еще как следует расположиться в своей каюте, как почувствовал, что пароход наш уже отчалил и, наскоро приведя себя в порядок, бросился на палубу. Дон Хулио был тут же.

Мы уже приближались к выходу из бухты, окруженной высокими горами, столпившимися у ее берегов в капризном и живописном беспорядке, и теперь, плавно и медленно поворачивая, огибали «Сахарную голову», которая, как средневековая сторожевая башня, охраняет вход в залив...

Еще минута — и с левой стороны разостлалась необъятная молочно-матовая поверхность океана, а справа поднялись скалы темно-красного гранита, сплошь покрытые роскошной, не поддающейся описанию растительностью. Одни из них, остроконечные, обрывистые, прорезанные узкими ущельями; другие — почти с перпендикулярными обрывами, но переходящие наверху в небольшие горные плато; как тех, так и других почти не видно, — все сплошь залито таким же, как и вокруг нас, океаном, но только океаном

* «Можно ли получить билеты на самом пароходе?»

зелени, самой бесшабашной, самой невероятной на всей поверхности земного шара.

Тропические гиганты, точно могучими волнами, поднимаются по склонам горного хребта и бесконечной лавиной заливают его от подножие до самых вершин. Длинная песчаная отмель, как будто пеной прибоя, охвачена зеленовато-серебристым кружевом кокосов, с их причудливыми, перекрещающимися стволами, тонкой и прозрачной листвой, трепещущей и переливающейся при малейшем дуновении ветерка. А там, немного выше, где на мгновение расходятся громады гор, видны отлогие долины с волнобразными холмами, покрытыми букетами разнообразных пальм, рисующих свои то серебристо-синие, то, как изумруд, зеленые силуэты на сплошной массе девственного леса... Из этой массы вдруг мощно вырывается одинокая гранитная скала с подножием, окутанным светло-серым утренним туманом; но и она сверху донизу залита разноцветными каскадами бромелий и пышными гирляндами лиан, так что только высота делает ее заметной в общей картине хаотической растительности, из которой она выступила, как одинокий утес из разбушевавшегося моря, заливающего и ее своими темно-зелеными волнами.

Еще повыше — и из общей массы леса, капризно меняющего свои оттенки от изумрудного до золотисто-красноватого, густой толпой взвиваются к недосягаемому небу кажущиеся стройными и белыми стволы тропических гигантов, увенчанные правильными шапками листвы, которые, соединяясь одна с другой, образуют над волнующимся зеленым океаном точно такое же волнообразное и зеленоющее облако, как бы неведомой силой оторванное от него...

А над всей этой грандиозной картиной, но не радующей своей красотой, а, напротив, утомляющей ею зрение и подавляющей дух, расстилается другой — воздушный океан, наполненный каким-то теплым и прозрачным паром, делающим воздух густым и бархатным, так что дышать им с непривычки тяжело, — точно глотаешь что-то мягкое, приятное, но чего тебе совсем не хочется.

Лучи солнца, белые, как бы массивные, не искрятся, не переливаются причудливыми красками, как на далеком, милом севере, а только тяжело скользят по неподвижной глади океана, на котором молочным облаком лежит отражение того же пара... Тихо, неподвижно...

— Не нравится, *señor*? — спрашивает дон Хулио, внимательно наблюдающий за мной.

— Откровенно говоря, нет... И что же, это обычная картина?

— В дождливое время года — да... На юг от тридцатого градуса широты много лучше, — там уже есть и лето, и зима, и все, как следует, а здесь только два сезона: дождливый и сухой... Вот подождите, — к полудню солнце подымется, пар растает, и тогда оно будет все давить, как преском; но чаще случается, что и солнце с ним ничего не поддается, и он обратится в неподвижные серые облака, из которых польется вниз монотонный, перпендикулярный дождь, большей частью испаряющийся, еще не дойдя до земли... Понятно, что при таких обстоятельствах здешние леса удержу не знают.

— Вы, дон Хулио, кажется, их недолюбливаете?

— Нет оснований к тому, чтобы любить... Вообще, неприятная страна Бразилия... Взгляните на берег, — ведь это роскошь, ошеломляющая роскошь! А никакой пользы человеку не приносит и никогда не принесет... Какие возможны здесь плантации, какая торговля, а между тем этот горный хребет тянется до самого Порто-Аллегро, и на всем этом протяжении буквально недоступен, так что человеку предоставляется только узенькая отмель, — на ней он может делать все, что ему угодно, но без лодки он не попадет даже к своему ближайшему соседу... Вот оно где повторяются муки Тантала!..

— Но, позвольте же, — сделал я слабую попытку возразить, — ведь мы сейчас, если не ошибаюсь, идем вдоль берега провинции Сан-Пауло, а сюда-то и направляются в последнее время эмигранты из России...

— Вы не ошибаетесь, *señor*, но знаете ли вы, известно ли вашему правительству, что их ожидает на этих берегах?

Во-первых, растительные продукты, являющиеся главной пищей населения, совершенно не усваиваются организмом ваших соотечественников и, благодаря этому, среди них свирепствуют самые ужасные заболевания, от которых они мрут, как мухи... Если вы сюда являетесь с намерением обосноваться на собственной фазенде, то вам для нее отведут клочок девственного леса где-либо внутри страны, и вы там десять раз успеете умереть, прежде чем вам удастся отвоевать у чаши хоть крохотный участок для будущего поля; это во-вторых... А в-третьих, сельскохозяйственные рабочие, явившиеся сюда для поденного труда, все поголовно отправляются на дальний запад, где нет ни правильно организованных властей, ни мало-мальски порядочных дорог, и там бразильский фазендадо, вооруженный револьвером, смотрит на них, просто-напросто, как на своих рабов...

— Дон Хулио, не увлекаетесь ли вы?..

— Ничуть!... Все это странно, все кажется какой-то сказкой, но тем не менее я уверяю вас, что рабство фактически здесь продолжает существовать, а необходимых для него рабов Бразилии, главным образом, дает Россия... Судите сами: пожалуется рабочий на дурную пищу, — хозяин направит на него дуло револьвера; изъявит желание оставить службу — аргумент тот же... Убийства служащих не наказуются, чего же больше?.. Меня, разумеется, не касаются внутренние дела Бразилии, но возмутительно, что у нас, в Южной Америке, среди других ее республик, продолжает существовать страна, в которой живы еще нравы и обычаи XVII века.

Несколько позже мне удалось получить фактическое подтверждение этого: мой спутник был совершенно прав. Но и тогда все великолепие окружающей природы точно исчезло для меня, и я в самом мрачном настроении ушел к себе в каюту...

III.

В Паранагве, небольшом приморском городе, мы оба оставили наш пароход и через несколько часов сидели уже в железнодорожных вагонах, маленьких и нельзя сказать, чтобы отличавшихся излишней чистотой. Дорога, по которой нам приходилось ехать, как и все южно-американские предприятия, обещала быть грандиозной, но финансовые расчеты строителей не оправдались, и в результате — она только соединила Коретибу с морским берегом...

Не желая утомлять читателя, я не буду говорить о своеобразной и дикой красоте тех мест, но которым нам приходилось теперь ехать. Упомяну только о том, что на полпути мы перешли водораздел, после чего окружающая нас обстановка волшебно изменилась. Тропический лес, все время млеющий в невидимом тумане, остался позади, и колеса стали весело стучать, проносясь между рядами архитектурно-правильных стволов араукарий, образующих тот «прототип священный», из которого должны были черпать вдохновение строители Альгамбры и знаменитых колоннад мечетей мавританской старины.

Пользуясь тем, что вагон наш оказался последним в поезде, я вышел на заднюю площадку и, стоя там, с интересом следил за непривычными для меня пейзажами. Дон Хулио, проведший накануне бессонную ночь за игрой в карты с какими-то подозрительного вида пассажирами и, разумеется, жестоко продувшийся, — от усталости или от огорчения, не знаю, а только давно уж спал, вытянувшись во весь рост на узеньком диванчике.

Последовать его примеру у меня не было охоты, а так как, кроме нас двоих, в вагоне не оказалось ни души, то я теперь остался без чичероне. Однако же, жалеть об этом мне отнюдь не приходилось. Правда, я лишался весьма ценных сведений о том, сколько мате и хлопка вывозится из провинции Параны; но стройные леса араукарий были настолько хороши, что я любовался ими без всякой задней мысли и едва ли был бы способен благодарить того, кто со-

общил бы мне даже самое точное число досок, добываемых из одного ствола.

Но, несмотря на все, уединение мое довольно скоро было нарушено.

Еще на первой остановке за Паранагвой я заметил, что из какого-то вагона впереди на платформу спустилась дама лет сорока, порядком-таки смуглая, но, очевидно, неmetisca, каких здесь большинство, а белая, и притом почти наверное испанка, так как огромные, лучистые глаза ее и теперь еще продолжали говорить о ее прежней красоте. Она, не торопясь, прошла вдоль поезда, пытливо посматривая в окна вагонов, и когда, наконец, поравнялась с нашим, то на лице ее ясно можно было прочесть разочарование. Но в то же мгновение взгляды наши встретились, и в течении нескольких секунд она смотрела на меня, потом медленно повернулась и ушла.

Я проследил за нею взглядом до ее вагона, а когда поезд тронулся и новые картины поплыли перед глазами, совершенно забыл о ней. Но она сама позаботилась напомнить о себе.

Только что мы остановились у следующей станции, как я опять ее увидел. С маленьким дорожным чемоданчиком в руках, она опять шла по платформе в мою сторону, но на этот раз не смотрела по сторонам и не останавливалась, пока не поравнялась с площадкой, на которой я стоял. Поставив чемоданчик у моих ног, она взялась за поручни и, по-видимому, собиралась последовать за ним. В ту же минуту поезд, по каким-то неведомым для меня причинам, тронулся, и я инстинктивно подхватил незнакомку под руку.

Она прекрасно могла обойтись и без моей помощи; и потому я, зная об утрированной строгости нравов, царящей в глухих углах Южной Америки, ожидал или маленького недовольства или, в самом лучшем случае, коротенького — *gracias, señor!*

Представьте же всю неподдельность изумления, охватившего меня, когда эта прелестная матрона вдруг опустилась на колени и прежде всего обнаружила самую недвусмы-

сленную попытку облобызать мои запыленные руки, а когда убедилась, что я решительно уклоняюсь от этой чести, то подняла свои над головой и разразилась целым каскадом восклицаний:

— О, Пресвятая Дева!.. О, велиcodушный *estranjero!* Самоотверженный спаситель мой! Спаситель моей дочери!.. Позвольте мне поцеловать ноги ваши... Покрыть слезами благодарности...

Я поторопился убрать свои ноги возможно дальше и, не зная, еще что она собирается покрыть слезами, попытался рассеять ее заблуждение.

— Сударыня, вы ошибаетесь, — я вовсе не хотел... То есть, хотел, но я ошибся, и, право, вы ничем не рисковали... Да если бы и рисковали даже, то я...

Но тут, благодаря волнению, все мои познания в испанском языке улетучились из памяти, и я растерянно бормотал только «*mil gracias*» и «Коретиба».

— Он благодарит, он благодарит меня! — опять затараторила коленопреклоненная сеньора.— Он, который...

Но тут я сделал порывистое движение к двери, и моя восторженная собеседница мгновенно вскочила на ноги.

— Вы велиcodушки, вы не хотите униженной благодарности, *señor*, — произнесла она голосом, полным достоинства, — так будьте же велиcodушки до конца; не лишайте меня возможности хоть как-нибудь выразить вам мою глубокую признательность. Вы, как мне послышалось, едете к нам, в Коретибу; я живу недалеко от города; вам всякий там покажет фазенду донны Мануэлы де Латарда. Навестите, хоть ненадолго, но навестите мое скромное жилище, и я буду вполне удовлетворена. Вы не откажетесь, *señor*, не правда ли?

Уголок, в который я забился при первых же словах экзальтированной сеньоры, теперь остался позади; она владела положением, и я... не отказался.

IV.

Должен признаться, что дон Хулио расхохотался, как полуумный, когда я рассказал ему об этом происшествии.

— Браво, *señor!* — кричал он между взрывов хохота и от удовольствие барабанил ногами по стене вагона. — Браво! Спаситель донны Мавуэлы! Белый медведь в лесах Бразилии! Ха-ха-ха! И не отвертитесь теперь, *amigo meu!* Ведь нужно же спасти ее от верной гибели!.. Ха-ха-ха!

— Да от чего не отверчусь? — потерял я, наконец, терпение. — Скажите толком!

— От свадьбы, рыцарь без страха и упрека! От бракосочетания с прелестнейшей из сеньорит... Вот от чего!

— Чтобы я женился на донне Мануэле?.. С ума вы спятили, дон Хулио?

Приступы хохота возобновились с удвоенной силой.

— На донне Мануэле!.. Кто вам говорит, на донне Мануэле? Да она и сама не согласится...

— Так на ком же тогда, черт бы побрал и ее, и всех прочих психопаток Европы и Америки?

— На дочери ее, *señor!* На очаровательной донне Розите... На девушке, которая прекрасна, как Божий свет, но до сих пор не может выйти замуж.

Я несколько успокоился, но потребовал от дона Хулио дальнейших объяснений.

Он пробыл еще несколько минут в лежачем положении; но смеяться ему, по-видимому, уж не хотелось, и он, вздохнув, приподнялся на диванчике и сел.

— История довольно смешная, хотя и непонятная, *señor!*.. Надеюсь, вы на меня за мою веселость не в претензии? Во всяком случае, извиняюсь от души и перехожу к интересующему вас вопросу... Донна Мануэла — да будет вам известно — вдова и пребывает в этом звании шестнадцать лет, причем единственным ее утешением все это время, за исключением последних лет, являлась ее дочь, Розита... Года два тому назад откуда-то из Азии вернулся в Коретибу некий *caballero*, по ремеслу — торгаш, что уж

одно доказывает его португальскую породу, и занял место управляющего у донны Мануэлы. Хорошо он управлял ее фазеной или плохо, судить я не берусь, но только хозяйка и ее управляющий друг друга полюбили. Все ждали свадьбы, но не дождались, и, как выяснилось потом, причиной этого была Розита. Она ровно ничего не имела бы против вторичного брака матери, но ей к этому времени самой уже исполнилось 16 лет, а у нас не принято, чтобы в подобных случаях матушка опережала дочь. К чести донны Мануэлы, она и ее избранник прекрасно это поняли и решили обождать замужества Розиты...

Дон Хулио выпустил из-под усов клуб дыма, посмотрел в окно и продолжал:

— Об этом обстоятельстве в окрестностях не замедлили узнать, и на фазенду один за другим потянулись женихи. Встречали их всех радушно, выслушивали благосклонно, но в самый решительный момент они сами отказывались от женитьбы и с пустыми руками возвращались вспять. Так, по крайней мере, говорили некоторые из них... Правда это или ложь, судить не мне, а знаю только то, что через год по добной воле никто уж на фазенду не являлся. Однако же, управляющий и донна Мануэла своего решения не изменили, — и вот с тех пор она и начала свои скитания из Коретибы в Паранагву и обратно... Всякий пассажир, не слишком старый и уродливый и в первый раз приехавший сюда, непременно познакомится с сеньорой Мануэлой и получит приглашение побывать в ее фазенде. Но для знакомства она, обыкновенно, довольствуется более скромными услугами: поднять платок, снять с сетки чемодан — вполне достаточно... И вдруг спасение погибающей!.. Что-то неслыханное до сих пор! По моему, она имеет на вас какие-то особенные виды; счастье ваше, amigo твою, что вы встретились со мной и теперь выслушаете мой дружеский совет: не ездите к сеньоре Мануэле, — она, по-видимому, пришла в отчаяние от долгих неудач, и неженатым вы не вырветесь у нее из рук. Клянусь честью иdalго, что вы, поехав туда, окажетесь спасителем своей же тещи!

Последние слова дон Хулио произнес с великолепным отчаянием во взоре, но мое любопытство было уже возбуждено.

— Скажите, *señor*, а донна Розита молода, хороша собой?..

— Как восемнадцатилетний ангел, хотя я и не представляю их себе... в столь раннем возрасте

— Вы сами ее видели?

— Раз пять и каждый раз, — да простит мне это моя Манола, — жалел о том, что я уже женат.

— Ну, в таком случае, дон Хулио, я очень вам признаителен за ваш совет, но приглашением «спасенной» мной особы все-таки воспользуюсь и к ней поеду.

— Я вас предупредил, *señor*, а поступать вы можете, как вам угодно. Никто не вправе помешать вам простирать вашу спасательную деятельность до подвига включительного...

V.

Дня через три после описанного разговора, когда я уже успел довольно подробно познакомиться с особенностями Коретибы, о которой я попрошу разрешения поговорить когда-либо в другой раз, мне вспомнилось мое дорожное знакомство, и я попросил у дона Хулио коня, чтобы отправиться с визитом.

Он по-прежнему насмешливо улыбнулся и отдал нужные распоряжения, а несколько минут спустя, когда я уже был в седле, готовясь выехать из дома, попросил не забывать, что он первый и даже заранее поздравил меня со вступлением в законный брак.

Пообещав не забыть об этом и передать его поклон почтенной донне Мануэле, я, согласно требованиям южно-американского бонтона, с места поднял коня в галоп и поскакал в сторону таинственной фазанды.

Она оказалась гораздо ближе к городу, чем я предполагал, так что, выехав тотчас же после восхода солнца, я те-

перь уже ощущал чувство некоторой неловкости при мысли о столь несвоевременном появлении в незнакомом доме. Но все мои опасения не замедлили рассеяться, когда я подъехал к воротам усадьбы и с удовольствием заметил, что день здесь, по-видимому, уже давно вступил в свои права.

Во дворе сутились и бегали несколько человек пеонов, исполняя приказания красивого молодого человека, стоявшего у самого входа в дом, а где-то в глубине его раздавались голоса нескольких женщин, и мне показалось, что я узнал среди них голос донны Мануэлы...

Появление мое ни малейшего эффекта не произвело, — по-видимому, меня здесь ждали.

Только что я успел сойти с коня, как из дома стремительно выбежала сама хозяйка и бросилась ко мне с теми же восторженными восклицаниями, что и прошлый раз. К счастью, присутствие управляющего спасло меня от полного повторения глупой дорожной сцены, а обращенная к нему просьба — распорядиться поставить куда-либо лошадь — вызвала необходимость немедленного представления, из которого я узнал, что его зовут *señor* Игнасио и что он лучший друг «спасенной мной» донны Мануэлы.

Судя по спокойному и даже холодному выражению его лица, нельзя было сказать, чтобы он был особенно счастлив приветствовать в моей особе спасителя этой прелестной дамы... Но тут мы вошли в дом, и при появлении донны Розиты мои мысли приняли совершенно иное направление.

Назвать ее ангелом, как это сделал мой приятель, я не решился бы — слишком много земной красоты было в этой грациозной и стройной девушке, — но хороша она была безусловно... И, убедившись в этом, я ощутил, что мое любопытство постепенно заменяется упорным желанием во что бы то ни стало узнать разгадку странной тайны, окружающей уединенную фазенду.

Сначала я долго не мог решить, как мне надо держать себя, чтобы добиться желаемого результата. Особенно мне не хотелось разыгрывать роль жениха, хотя я и пытался успокоить себя тем обстоятельством, что все претенденты

на руку Розиты принуждены были отказаться от нее, а следовательно, и я, будучи ничем не хуже их, со спокойной совестью могу выступить на том же амплуа и с тем же результатом. Однако же, жалость к бедной девушке оказалась сильней этих соображений, и я стал изошряться в придумывании какого-либо иного выхода. Но тут меня выручила самая обыкновенная случайность...

Рассеянно отвечая на бесконечные вопросы донны Мануэлы, я как-то упомянул о том, что знаю дона Хулио и что ему известно о моем посещении фазенды... Сказал — и поразился тому впечатлению, какое произвели мои слова на эту даму...

— Дон Хулио! — воскликнула она, растерянно глядя на меня. — Так вы женаты, значит?..

В ту же секунду я заметил, что этот вопрос вырвался у нее помимо воли и что она многое бы дала, чтобы вернуть его обратно; но случай был слишком соблазнителен для человека средней добродетели, и я не устоял. Вместо того, чтобы ответить на него вопросом же, я совершенно спокойно посмотрел на донну Мануэлу и произнес одно лишь слово:

— Нет.

Я заметил, что дон Игнасио с таким же нетерпением ожидал моего ответа, как и его хозяйка, и теперь, по-видимому, принял какое-то решение. По крайней мере, неуверенная манера держать себя исчезла у него бесследно, и он имел вид человека, покорившегося неизбежному течению вещей.

Донна Мануэла без особых усилий добилась у меня согласия остаться еще на один день и вскоре после этого ушла к Розите, которая покинула нас еще раньше...

«Прекрасно, — подумал я, оставшись наедине с *сейор* Игнасио, — мамаша отправилась уверить дочь, что я еще не стар и достаточно недурен для того, чтобы стать ее зятем, а этот господин будет мне говорить об узах Гименея и о сопряженных с ними радостях... Послушаем!»

Но признаюсь, что услышать мне пришло совсем не то. Сначала я было подумал, что просто дон Игнасио не обладает нужными талантами для исполнения столь дели-

катных поручений, но когда прошло двадцать минут и полчаса, а он все продолжал замогильным голосом рассказывать мне о неразгаданных убийствах, то в душе у меня невольно закопошилось подозрение, и я подумал, что здесь что-то неладно.

Заметил ли он впечатление, вызванное его рассказами, не знаю, но только тему разговора переменил. Однако, и новая оказалась ничуть не лучше прежней, — его вниманием теперь всецело завладели рассказы о привидениях, посещающих уединенные дома; у него оказался неистощимый запас сведений о вещих снах, предчувствиях и тому подобных своевременных и занимательных вопросах, о которых он красноречиво распространялся, водя меня по самым глухим и заброшенным углам фазенды.

Подозрение, возникшее у меня, постепенно крепло и превратилось, наконец, в уверенность к тому времени, когда солнце зашло и он вызвался показать мне внутреннее устройство дома.

Насколько помнится, мы перед этим говорили о предостережениях, которые иногда позволяют себе делать мертвцы, и о тех непостижимых способах, какими они доводятся до сведения живущих еще в мире. Но как бы то ни было, а для меня уж было ясно, что дон Игнасио намерен меня запугать до полусмерти своими страхами, и потому я был непрятворно изумлен, когда мы, обойдя почти весь дом, не заметили в нем никаких сверхъестественных явлений.

Может быть, мой почтенный проводник был не совсем уверен в своих силах?.. Подумав об этом, я решил подзадорить дона Игнасио и, идя следом за ним по узкому и совершенно темному коридору, меланхолически пробормотал:

— Предчувствия... Конечно, предчувствия бывают, и кажется мне, что я в этой фазенде найду, наконец, то, чего искал...

Дон Игнасио внезапно остановился, так что я наткнулся на него, и, после минутного молчания, хрипло прошептал:

— *Señor*, вот двери в комнату... Да хранит меня Матерь Божия, чтобы я когда-либо вошел сюда один!.. Но вдвоем, если вам будет угодно, — вы, кажется, смелый человек, — войдем...

— Войдем, *señor*, — ответил я, довольно сносно имитируя крайнюю степень испуга,

— Первый раз в жизни переступаю я этот порог, *señor*, — шептал мне дон Игнасио, однако же как нельзя лучше ориентируясь в потемках.

Я сделал несколько быстрых шагов внутрь комнаты и тотчас же получил возмездие за этот легкомысленный поступок, больно ударившись о край массивного пюпитра.

— Осторожнее, *señor*, — расслышал я шепот моего проводника, — здесь когда-то работал покойный отец донны Розиты и, говорят... — он вдруг умолк.

Но я и без него мог убедиться, что «говорят» не без оснований...

Дон Игнасио неподвижно стоял почти рядом со мной; в доме по-прежнему все было тихо... Как вдруг откуда-то, из-под земли, ясно раздался леденящий душу стон, потом другой... Затем я несколько секунд не слышал ничего, но вот опять, только уж из какого-то дальнего угла, раздался тот же ужасный голос.

На этот раз он не стонал, а медленно произносил какие-то неясные, но явно угрожающие фразы. Постепенно звуки стали более членораздельными, и я без особого труда разобрал имя Розиты, неодобрительное мнение духа о ее замужестве и энергичную угрозу покарать смертью смельчака, который решится прикоснуться к ней...

Для последнего сообщения голос мертвеца счел нужным забраться куда-то на потолок... Но это уж было слишком!

Взбешенный наглостью, с которой дон Игнасио пытался запугать меня, как запугал, вероятно, десятки наивных претендентов на руку бедной девушки, я неожиданным движением схватил его за горло, опрокинул на пюпитр и несколько раз со всего размаха опустил свой стек на его бренное тело.

VI.

Теперь все стало ясно, и сомневаться мне ни в чем не приходилось...

Выйдя из комнаты и благополучно выбравшись во двор, я остановился в густой тени веранды и стал обдумывать создавшееся положение вещей.

В сущности говоря, мне, русскому, журналисту по профессии, да еще путешествующему по Америке за счет редакции, совершенно не было расчета путаться в какие бы то ни было темные истории сомнительным исходом в перспективе, — но человек, вообще, странное создание... и в эту ночь я еще раз убедился в справедливости такого мнения.

«Тайну» загадочной фазенды, если только это можно было назвать тайной, я разгадал... Очаровательный *señor* Игнасио, которого я так некультурно проучил за его чрезмерные таланты, по всей вероятности, и не думал быть порабощенным красотой донны Мануэлы. Она-то, разумеется, его любила; я в этом не сомневался ни минуты, но сам он был далеко не равнодушен к дочери, как этого и следовало ожидать, сравнив хотя бы возраст трех обитателей фазенды... Мамаше лет сорок или немного больше, восемнадцать — дочери и около двадцати пяти — ему. Мне лично кажется, что язык цифр никогда не был так красноречив, как в данном случае...

Любя донну Розиту, он, несомненно, встречал непреодолимое препятствие к осуществлению своих надежд в любви к нему ее мамаши, а, может быть, и в ней самой. Сеньора Мануэла, пользуясь вожделенным здравием и склонностью к многолетнему и благоденственному житию, наверное, не стала бы делать завещание в пользу своего страдающего жениха, а потому и устраниТЬ ее с пути нельзя было до той поры, пока равнодушие донны Розиты не сменился чувством более приятным для *señor* Игнасио. Поставленный в столь тягостное положение, он поневоле должен был все свои упования возложить на время, хотя и

трудно сказать, на что у него было меньше шансов: на скорую ли кончину «спасенной» мною вдовушки или на перемену в отношениях к нему со стороны донны Розиты.

Для благовидной проволочки времени он мог предложить влюбленной в него барыне сначала выдать замуж дочку, а затем уже думать о своем личном счастье. Само собой понятно, что он при этом рисковал, но, вероятно, иным путем у него не было возможности отсрочить женитьбу на донне Мануэле... А насколько я мог теперь судить, так и рисковал-то он немного, — ведь после годичной практики в чревовещании он навсегда отвадил от фазенды всех претендентов на руку Розиты, а женихи, случайно встреченные в поезде, едва ли обнаруживали склонность к столь эксцентрическому браку. Возможно, что и пугать их приходилось далеко не всех...

Глупейшая комедия — и баста!..

Прияя к такому заключению, мне только оставалось проститься с дамами и подобру-поздорову уехать из фазенды. Но тут-то мне и пришлось еще раз убедиться в том, что человек довольно странное создание...

Прекрасно понимая, что всякое дальнейшее промедление будет понято хозяевами, как готовность с моей стороны подтвердить насмешливые предсказания дона Хулио, я все же не торопился уезжать, а через полчаса решил остаться.

Что мной руководило при таком решении, — затрудняюсь сказать, но, во всяком случае, немного позже донна Мануэла, грациозно опираясь на мою руку, провела меня в столовую, где я и занял указанное ею место...

Нельзя сказать, чтобы компания, сидевшая за ужином, отличалась особо веселым настроением духа. *Señor* Игнасио все время хмурился и молча покусывал усы, хотя и вида не подавал, что между нами произошла такая неприятная размолвка. Хозяйка тоже заметно волновалась и вздрагивала при каждом звуке, точно ожидая, что вот-вот появится ужаснейший дракон и унесет меня из мирной Коретибы куда-нибудь в неведомые страны. Донна Розита по-

прежнему молчала и со скучающим лицом чуть слышно отвечала на мои довольно натянутые шутки...

Короче говоря, общение друг с другом на этот раз нам удовольствие не доставляло, и я, отговорившись дорожной усталостью, имел мужество первым извиниться и попросить разрешения подняться из-за стола.

Донна Мануэла тотчас же вскочила со своего места и засуетилась подле меня, расспрашивая, что я привык пить перед сном, какая постель мне больше нравится, помягче или нет, не беспокоит ли меня лунный свет и в том же роде без конца, так что я с непрятворной радостью запер дверь на ключ и осмотрел комнату, в которой мне предстояло ночевать...

Особенного в ней ничего не оказалось. Постель достаточно удобная, стены, конечно, без тайных ходов и пол без замаскированных люков... В двух последних пунктах я был настолько твердо убежден, что, не занимаясь их исследованием, просто-напросто улегся спать.

Сначала я полагал, что моментально же усну, но через несколько минут моя уверенность поколебалась, а по прошествии еще четверти часа мне начало казаться совсем обратное, и я с тяжелым чувством стал подготовлять себя к бессонной ночи. Впрочем, ночь эта была настолько хороша, что я недолго предавался грустным размышлениям о первоисточнике бессонницы и, полулежа на постели, повернул голову к раскрытыму окну и стал смотреть на Южный Крест, который, кстати сказать, так же похож на этот символ, как наша Северная Медведица — на зверя.

Сколько времени я провел за этим созерцанием, определить точно не берусь, но только спокойствие мое было нарушено самым неожиданным и странным образом.

Внезапно, не предшествуемый никаким шумом извне, через окно в комнату влетел какой-то сверток и довольно тяжело шлепнулся перед моей постелью. Из глубины его почти тотчас же раздался сравнительно глухой свистящий звук, и я, подумав, что это бомба, уже приготовился к прыжку в окно. Но в это же мгновение луна бросила свой первый луч в него, и я заметил, что ошибся.

Однако же, и действительность была не из особенно приятных. На полу лежал платок, связанный четырьмя углами, а из прорех его со всех сторон высовывались и извивались рубиновые ленточки, в которых по шипению да и по другим приметам я наверняка признал несколько десятков великолепных экземпляров коралловой змеи. Опасность взрыва устранилась, но укус каждой из этих изящных змеек грозил мне неминуемой смертью. Ни минуты не сомневаясь в этом, я выполнил свое первоначальное решение: одним скакочком очутился на окне и, не задумываясь, спрыгнул в сад.

Легкий костюм — с одной стороны и адски холодная роса — с другой, довольно быстро успокоили расходившиеся нервы; ежась от холода, я решил, что уже достаточно испытывать долготерпение судьбы и что лучше всего потопропиться с отъездом из фазенды.

Благодаря ночному времени, — рассуждал я, — едва ли кто-нибудь заметит существенные недостатки моего туалета, а новые насмешки дона Хулио я претерплю и перенесу безропотно.

Придя к такого рода заключению, я уже не колебался и уверенно направился к конюшням, но не успел сделать и нескольких шагов, как из-за изгороди кто-то меня позвал.

— *Señor!* Подите-ка сюда, *señor*!

Оглядываюсь: над гребнем каменной стены, охватывающей всю фазенду, торчит голова какого-то пеона с улыбкой, расплывшейся от одного уха до другого. Я еще днем заметил его во дворе среди других работников, так что без боязни мог подойти к нему, чтобы узнать, в чем дело.

— Не надо туда ходить, *señor*, — забормотал он, едва только я продрался сквозь какие-то кусты и очутился под стеной, — лошадь ваша готова, вот я держу ее.

Всего, чего угодно, но только этого я уж никак не ожидал!

— Лошадь?! Ты говоришь, моя лошадь здесь?

— Здесь, *señor*! И пончо здесь; укутайтесь — теплее будет.



«Надъ гребнемъ каменной стѣны торчитъ голова какого-то
игона»...

— Но какой же дьявол надоумил тебя привести ее сюда?

— Зачем же дьявол?.. Не годится ночью говорить о нем.

А только все сеньоры, что приезжают к нам, выскакивают ночью из окна и уезжают из фазенды. Сначала дон Игнасио приказывал мне седлать их лошадей и приводить сюда, ну, а теперь и без него я это знаю.

Чумазый конюх был, несомненно, глуп, как целый пень пробкового дуба, но я в его пояснениях и не нуждался. Систематичностьочных побегов из фазенды сама по себе была достаточно красноречива, и у меня уже мелькнула смутная догадка,

Я не спал, заметил змей и выскочил из комнаты. Ну, а те, что засыпали и все-таки спасались бегством при благосклонном участии *señor* Игнасио и этого пеона? Ведь они могли обнаружить присутствие змей, только проснувшись. А между тем, влетели они в комнату почти бесшумно, — следовательно... Следовательно, будило их прикосновение гадов к телу. Но почему же тогда змеи их не кусали?..

И вдруг точно молния сверкнула у меня в сознании:

— Ax, черт возьми, ядовитые зубы у них вырваны,—вот и разгадка! — И я неудержимо расхохотался.

— *Señor*, поторопитесь, — послышался нетерпеливый голос конюха, — скоро светать начнет.

— Прекрасно, можешь отвести лошадь на конюшню, — я не поеду.

Подойдя к дому, я обернулся, но голова конюха по-прежнему торчала над стеной и уж не знаю, чем он был больше изумлен, — серебряной монетой, которую я ему бросил на прощание, или моим возвращением в комнату тем же необычайным путем, то есть — через окно.

VII.

— Да, — думал я, сидя уже на подоконнике, — ночи с такой ледяной росой — явление не совсем обычное для Коретибы. Мне повезло... Нет ничего мудреного, что все мои

предшественники, выскочив полусонными из своей комнаты и не подвергаясь отрезвляющему влиянию холода, не особенно были склонны думать о причинах чего бы то ни было и собеседовать с пеоном, а просто вскакивали на услужливо им поданную лошадь и сломя голову уносились из фазенды. Ай да *señor* Игнасио, вы, оказывается, не только чревовещатель, но и недурной психолог!

Выловив всех змеек и повыбрасывав их обратно в сад, но только каждую уже в отдельности, я с удовольствием почувствовал, что моя бессонница исчезла без следа, и потому, притворив как следует окно, снова улегся и сразу же уснул.

Но спал я на этот раз, против обыкновения, довольно чутко.

Прошло, вероятно, не больше трех или четырех часов, как под дверями моей комнаты послышалось какое-то шушканье, заставившее меня открыть глаза. Я приподнялся на постели и прислушался.

— Что, спит или уехал? — голос, по-видимому, донны Мануэлы.

— Должно быть, спит, *señora*, — ничего не слышно.

— А кому же здесь шуметь, если он уехал? Вечно ты говоришь глупости. А где Пепита?

— Побежала в конюшню, посмотреть лошадь *caballero*.

— Не беспокойтесь, — подал я голос, убедившись, что за дверями, кроме «спасенной» и ее горничной, нет никого, — я не уехал и уже встаю.

— Хвала Иисусу! Ах, *señor*, как я тревожилась! — послалось после минутного молчания из-за дверей. — Я не предупредила вас, — дом у нас старый, а привидения пугают иногда людей, к ним непривычных. Недавно еще один почтенный гость убежал через окно и, не попрощавшись с нами, уехал из фазенды. Так вас ничто не потревожило? Благодарение Господу! До завтрака, *señor*! — и за последними словами по коридору послышались поспешно удаляющиеся шаги.

Если я и сомневался до этой минуты, то уж теперь был совершенно убежден, что донна Мануэла не знает ничего

и, вероятно, объясняет все происходившие раньше неудачи особыми видами, которые имеются у привидений насчет Розиты и меня. Но, волей небес, колючий кустарник, через который мне этой ночью пришлось два раза прорываться: к стене и обратно в сад — стал Рубиконом, через который я мужественно перешел, и отступать теперь не приходилось.

Придя к такому заключению, я поспешил одеться и присоединиться к обществу, уже собравшемуся в столовой.

Señor Игнасио, чего уж я совсем не ожидал, оказался на этот раз неподражаемо любезным и остроумным собеседником, так что веселый смех ни на минуту не умолкал за завтраком, а затем продолжался и в саду, куда мы вскоре перешли из-за стола.

Впрочем, Мануэла недолго оставалась с нами и вскоре уехала в Коретибу за какими-то покупками, а мы втроем продолжали бродить по саду, осматривая клумбы с неизвестными для меня цветами и разные хозяйствственные достопримечательности фазенды, которых я вчера не мог увидеть благодаря мрачному настроению *señor* Игнасио и нашей прогулке по задворкам.

К полудню, когда солнце стало жечь слишком ощущительно, мы возвратились обратно в дом. Здесь наш разговор перешел на темы еще более мирного характера. Говорили о красоте природы вообще и местной в частности, спорили немного об искусстве и его задачах и, наконец, занялись народным творчеством.

Из нескольких случайных слов я мог понять, что оба мои собеседника очень недурные музыканты и, воспользовавшись тем, что мы заговорили о музыкальном творчестве Бразилии, я попросил их дать мне представление о популярных здесь мелодиях.

Барышня не заставила себя долго упрашивать, а дон Игнасио вызвался вынести на веранду стулья и сходить за инструментами.

Через несколько минут он возвратился и пригласил нас следовать за ним.

Выйдя из комнаты на крытую парусиной галерею, я заметил гитару и мандолину, лежавшие на двух плетеных

креслах, стоявших рядом, и одно напротив них, предназначавшееся, по-видимому, для меня. Обменявшись несколькими шутливыми замечаниями, мы заняли свои места; гитарой завладела донна Розита, управляющий взял мандолину, а я, усевшись поглубже в кресле, принял самую комфортабельную позу и повесил свои уши на гвоздь внимания.

Инструменты оказались в полном порядке, так что настраивать их не приходилось, и вопрос был только за тем, с чего начать.

Señor Игнасио сперва задумался, но потом быстро поднял голову и обратился к девушке:

— Для начала сыграем, *señorita*, ту мелодию, которую я вам недавно показал.

Донна Розита запротестовала:

— Помилуйте, какая же это местная национальная мелодия? Я здесь выросла, а ее никогда в жизни не слыхала.

— Здесь, разумеется, но для северной Бразилии она чрезвычайно характерна,

Желая прекратить начинавшийся спор, я поспешил уверить, что интересуюсь вообще бразильской музыкой, независимо от географического ее распространения, после чего донна Розита недовольно пожала плечиками и подготовилась играть.

Они быстро взглянули друг на друга, наклонились слегка вперед, и первый звук слетел со струн и точно растаял в воздухе.

Полузакрыв глаза, я внимательно следил за прихотливой волнующейся мелодией и через несколько минут вполне присоединился к мнению Розиты, что эти звуки какого угодно происхождения, но только не бразильского. Струны как-то сладострастно ныли и звенели, воздух казался напоенным томящей негой; припоминались почти иеподвижные воды огромных рек, вечнозеленые леса, ленивый плеск фонтанов, словом — Восток, но Восток, давно известный нам, — «долина Ганга», Индостан...

Мне как-то сразу припомнились слова моего спутника, что дон Игнасио был долго в Азии. Значит, опять мисти-

фикация! Я приготовился к должностному отпору и широко раскрыл глаза, чтобы не оказаться захваченным врасплох.

Но было поздно...

Первое, что я теперь заметил, было напряженное, полное ужаса лицо донны Розиты. Пальцы ее быстро перебегали по струнам, но округленные страхом глаза неподвижно смотрели в одну точку у самых моих ног. Я бросил туда взгляд и сразу же окаменел...

Там, на расстоянии нескольких сантиметров от меня, я увидел огромную змею с широкой раздувшуюся шеей и маленькой головкой. Гадина приподнялась на хвосте, так что на полу оставалось только одно ее кольцо, и медленно покачивала своим ужасным телом в такт раздававшейся мелодии.

Голова ее попеременно оборачивалась то в сторону Розиты, то ко мне; по всему видно было, что эта отвратительная тварь испытывает теперь художественное наслаждение и настроена в достаточной степени миролюбиво.

Вопрос весь заключался в том, как долго это настроение продержится...

Будучи достаточно слаб по части зоологии, я все-таки без труда признал в ней кобру, эту ужаснейшую из всех змей Индии, и обливался холодным потом, чувствуя, что каждую секунду что-либо может вызвать ее гнев, — и тогда один из нас погибнет несомненно.

С трудом оторвав глаза от пресмыкающегося, я посмотрел на дона Игнасио. Он озабоченно следил за каждым движением гадины, но все, что угодно, можно было прочесть в напряженных чертах его лица, за исключением изумления. Он скорее напоминал человека, добровольно бросающегося в горящий дом, чем неожиданно застигнутого в нем пожаром... Это, вероятно, был его последний выпад, но только уж не шуточный...

Вдруг кобра, продолжая покачиваться в такт музыке, повернула свою голову ко мне и уже не меняла принятого положения.

В ту же минуту мандолина точно с ума сошла: прежняя мелодия мгновенно оборвалась, а звуки ее струн слились в

каком-то невероятно диком визге.

Змея на секунду замерла, как бы растерявшись от неожиданного перехода, но вслед за тем еще сильней раздула шею; крохотные глазки ее блеснули, из разинувшейся пасти вырвалось злобное шипение...

И не знаю, что было б дальше, но тут донна Розита, сообразившая, в чем дело, с такой силой начала прежнюю мелодию, что звуки ее даже заглушили на несколько мгновений какофонию дона Игнасио. Началась упорная, ожесточенная борьба между гитарой и мандолиной, а звуковые последствия ее превратились в что-то неслыханное, невообразимое...

Рассвирепевшая гадина в безумной ярости металась из стороны в сторону, по временам почти касаясь то моих ног, то ног Розиты.

Каждое мгновение могло стать роковым...

Но вот лицо несчастной девушки покрылось смертельной бледностью, пальцы ее уже взяли несколько неверных аккордов на гитаре... Еще немного — и она, продолжая сидеть в кресле, лишилась чувств.

— Погиб! — молнией мелькнула у меня мысль.

Но еще быстрее ее прогремел из-за спины у меня выстрел, и кобра, с расплющенной головой, тяжело шлепнулась на пол.

Лицо дона Хулио склонилось надо мной, и я потерял сознание...

Несколько месяцев тому назад, с последним письмом из Уругвая, я получил известие о том, что исчезнувший было дон Игнасио опять появился в Коретибе, и снова ходят слухи о его женитьбе на донне Мануэле...

Розита, воспользовавшаяся отсутствием своего аргуса, давно уж вышла замуж и живет где-то к северу от Рио.

«ГАРПАГОН» ИЗ КОРЕТИБЫ

Выдался прекрасный нежаркий день, когда я весной, кажется, в начале ноября, вместе со своим приятелем Пачеко выехал из городка *Manzanas*, направляясь в *rancho* какого-то *señor'a*, соблаговолившего недавно умереть, оставив все свое движимое и недвижимое моему спутнику, приходившему ему чем-то вроде внучатого племянника.

Меня, разумеется, далеко не так интересовал ввод во владение достойного капитана уругвайской армии, — мой друг, действительно, носил этот красивый, хотя и слишком опереточный мундир, — как то обстоятельство, что я во время поездки успею поближе ознакомиться с особенностями этой, даже с местной точки зрения, отдаленной провинции. Ведь еще каких-нибудь двадцать-тридцать лет тому назад почти все были убеждены, что Патагония и южная часть Аргентинской пампы — не что иное, как сплошная каменистая пустыня, не только холодная и суровая, но даже лишенная всяких признаков пресной воды. *Mais tout est bien qui finit bien*, — и когда, с легкой руки генерала Рока, спекуляторы и авантюристы-торгаши поглубже заглянули в заповедную землю, то здесь их ждала весьма приятного свойства неожиданность: соленые реки, и озера, и каменистые пустыни, положим, оказались, но рядом с ними открыты были и реки с пресной водой, а по берегам их, особенно у подножий Кордильер, огромные и богатейшие плодородные пространства. Здесь же, на берегах озера *Nahuel Huapi*, известного до этих пор только понаслышке, к вящему изумлению завоевателей, оказались и оседлые дикари, возделывавшие земли среди огромных лесов яблонь, сливы и других деревьев, которые мы привыкли считать неотъемлемой собственностью средней Европы. Нашли также, что из озера вытекает большая река, *Рио Негро*, и тогда основали здесь теперешний городок «*Manzanas*»*.

* «Яблоки».

Подобного рода открытие не могло, разумеется, не дать нового толчка и эмиграции, и спекуляции, но взъерошившиеся воды давно уж успокоились, и теперь невыразимо хорош, с окружающих его холмов, этот «яблочный город», точно утонувший в молочном облаке распустившихся и благоухающих садов.

Однако, любоваться им на этот раз я не имел возможности, — как и всегда, бочонок меда был испорчен ложкой дегтя, который, для меня лично, символизировался нашим экипажем...

Это был общебразильский «троль», архитектурная идея которого одинакова с идеей, породившей наш тарантас, но для меня оставалось непонятным, каких ради причин это произведение португальской изобретательности перенеслось за тридевять земель, сюда, в самую глушь аргентинской пампы?.. Тем более, что особыми удобствами он отличаться не может по самой своей природе, — представьте себе длинные дороги на четырех колесах, и посредине этих дорог ящик с двумя лавочками, но только все это в миниатюрном и гораздо более примитивном виде, чем у нас. Колеса низенькие, дороги из двух широких, почти негнущихся досок, а ящик, тоже деревянный, маленький и без всякого намека на спинку или что-нибудь иное в этом роде. Если ваша фантазия преодолела все трудности такого построения, то теперь вы можете себе представить всю муку путешествия в этом, с позволения сказать, экипаже. Положим, несколькими часами позже, когда мы начали карабкаться по возмутительным дорогам предгорий Кордильер, я стал иного мнения о троле, но пока что возмущался им до глубины души и поражался стоицизму моего Пачеко, который, уткнувшись подбородком в согнутые колени, заунывно выводил:

«La gente que jamays fue conquistada,
Que a todo el mundo no temia...»*

* «Люди, которые никогда не были побеждены / Которые не боялись целого света...»

Однако, соединенные усилие экипажа и дороги были не по силам человеку средней добродетели, и скоро я имел удовольствие услышать, как мой приятель, несмотря на весь свой патриотизм, начал вполголоса ворчать, упоминая, между прочим, о правительстве и казнокрадах... Я молчал и старался возможно больше извлечь из этих лаконических сененций, так как в нормальном состоянии *señor* Пачеко ни за что не позволил бы себе никакой нескромности, — дело в том, что он еще не пристал ни к *blancos*, ни к *colorados** и потому опасался высказать что-нибудь несогласное с его будущими убеждениями...

Вдруг неожиданным толчком нас так встряхнуло, что я с искренним изумлением убедился, что сижу по-прежнему на своей скамеечке, а не на дороге позади троля.

Апатичный возница обернулся:

— На этом самом месте, *caballeros*, напали разбойники на его преподобие отца Хуана... — и, не ожидая ответа, снова углубился в свои размышления.

Но это уж было слишком!..

— *Les brigands!* — разразился негодующий Пачеко. — *Voyez donc cette blague! — il n'y a de brigands dans ce pays que le general Mitre et son gouvernement!*... **

Французский язык, разумеется, предназначался для меня, так как благодаря ему единственный аргентинский гражданин, занимавший переднюю скамейку, лишился возможности понимать нас, и раздраженный капитан мог развивать дальше свое оригинальное суждение.

Не знаю, что именно вызвало такой припадок откровенности: слишком ли непозволительный ухаб или же замечание возницы, ставившее в затруднительное положение репутацию южно-американских республик, как культурнейших стран в мире, но как бы то ни было, а, раз начав, Пачеко уже не мог остановиться. Но — да не поставит ему этого никто в вину, ибо каждый южно-американец, преж-

* Ни к «белым», ни к «красным».

** Разбойники! ... Какова шутка! — Если и есть разбойники в этой стране, то это генерал Митре и его правительство! (*фр.*) — Прим. изд.

де всего, горячий патриот, и хотя патриотизм его, главным образом, заключается в том, что он ненавидит и презирает соседнюю республику, но тем не менее вы хорошо поступите, если последуете его примеру и начнете, не стесняясь в выражениях и выбирая самые громкие эпитеты, превозносить до небес страну, в которой вы, в данное время, имеете счастье находиться. Главное — не нужно церемониться, — самая несуразная, самая нелепая лесть будет принята за чистую монету, и ваш собеседник все время будет идти на корпус впереди вас. Но пусть только правительство не угодит такому патриоту — все тогда кончено, и нигде в мире вы не отыщете такой наглой шайки воров и грабителей, как та, что захватила в свои руки управление этой несчастной страной!..

— *Blancos y colorados!.. Caramba!..* Вы думаете, *amigo* твою, это — политические партии? как бы не так!.. Быть может, в основание их и легла какая-нибудь историческая причина, но теперь вы до нее никак не докопаетесь... Произошло пронунсиаменто; захватил власть президент — красный, а вы против него — ну и примыкайте к белым. А то ведь и хуже случается: давно ли в Уругвае произошла революция, вызванная двумя претендентами, причем оба оказались красными? А мое теперешнее положение?.. *Santa Maria!..* Да черт же его знает, этого генерала Митре, красный он или белый?.. Я-то, разумеется, против него, но кто я, в таком случае?.. Ради всех дьяволов, кто я?..

Невозможно было удержаться от хохота, глядя на комическое отчаяние Пачеко.

— Да вам-то что за дело до него, — ведь вы же офицер уругвайской армии, а не аргентинец?..

— Уругвайской... Разумеется — уругвайской, а вдруг *estancia* моего дядюшки окажется стоящей чего-нибудь?.. Так неужели же вы думаете, что при таком правительстве она долго пробудет в моих руках, если только я сам не поселиюсь на асиенде?..

— Да, это, конечно, вопрос иного рода...

— Еще бы!.. Ведь это грабители, *señor!* разбойники с большой дороги!.. А ухабы-то! ухабы какие!.. Что бы хоть

немножко сгладить! Но нет — они не могут, — скупы, скучны, как... как... граф де Пирасикаба!..

— Что за дикое графство?..

— В Бразилии-то?.. Да ведь у них всякий: богатый лавочник, адвокат или доктор, — только сделается опасным или влиятельным, так сейчас же ему и преподносят маркиза, графа или виконта с фамилией, отысканной по географической карте... Совсем бразильский «*légion d'honneur*»!..

— Ну, это вы слишком!..

— Кровью Спасителя клянусь! Еще и не такие встречаются... Барон де Пиндамангаба, не угодно ли?.. А этого графа я хорошо знал, — его сын вместе со мной в одном полку служил...

— Это бразилец-то?..

— Ничего удивительного, — время было тревожное, перед выборами... Да разве я вам о нем не рассказывал?..

— Нет.

— В самом деле?.. Ну, так я расскажу, — это интересно! — и Пачеко мой совсем оживился. — Вы не бывали в Корентибе?..

— Нет, а что?..

— Мой граф, видите ли, был оттуда... Ну-с, так вот, поступил он в наш полк волонтером, и так как был неглуп и совсем не похож на бразильца, то его скоро произвели в поручики. Нужно шить мундир и все такое, а форма наша, вы ведь знаете, самая красивая в мире, так что понадобилось порядочно денег, а их-то именно и нет. Писал он старику, писал, но тот, вероятно, был порядочный скряга — и на такого рода письма ничего не отвечал. Делать нечего, — нужно, значит, ехать самому... Взял он отпуск, а я в то время тоже был свободен и, сам не знаю чего ради, напросился к нему в компании, так что выехали мы из Монтевидео вместе. Дорога скучная, — да вы ведь и сами знаете; скажу только, что с огромным наслаждением вышел я в Паранаагве на берег. Бразилию я вообще не люблю: все лес, лес и лес... Никакого разнообразия... У нас, положим, он тоже есть, но это совсем другое дело, — тут он живой, приветливый и точно любит человека... Душа в нем отдыхает... А

там — красиво, конечно; величественно, грандиозно даже, но все полно какой-то гнетущей силы, силы чужой, недобродой, почти злой... Там человек теряется, чувствует себя слабым, ненужным, а эта невероятная растительность точно стенами обступает тебя, и ты в ней задыхаешься. Б-р-р!..

Сели мы в поезд и стали карабкаться по карнизу, прорубленному в скале, а тут же рядом совсем отвесный обрыв в такую пропасть, что от одного взгляда голова кружиться начинает. Что ни шаг, то проносились мы по мостикам, под которыми в темной глубине прыгают по камням и падают тоненькие водопады, точно длинные блестящие нити, мелькающие в зелени. Еще раз повторю: красиво, но недобрая это красота, и рад я был, когда проехали мы, наконец, Pico de Diablo и добрались до перевала. Тут уже можно было вздохнуть свободнее: дьявольский непрходимый лес остался позади, сменившись сплошной массой пальм, а здесь и их точно ножом обрезало... Как из-под земли, выросли колоннады араукарий и со стороны их повеяло сухим воздухом родимой пампы. Крупнее этот лес, чем здесь, но впечатление то же: гладкие, прямые, как стрела, стволы поднимаются до 35 метров вверх, а тут уж полу круглые, поразительной правильности, сучья изгибаются красивыми дугами, так что все дерево напоминает собой какую-то гигантскую рюмку с изящной чашечкой на тоненькой и длинной ножке. Растут они не густо, друг другу не мешая, и только темно-зеленая, почти черная листва их, соприкасаясь, соединяет все деревья и точно плоскую крышу образует над безукоризненно правильной колоннадой. Много света, много воздуха, так как нет уже ни лиан, ни папоротников, а только свежая и нежная, как газон, травка, которая ничего не заслоняет и ничему не мешает. Вообще, хорошо!..

Вот в такой-то обстановке и добрались мы, наконец, до Коретибы.

Ничего особенного, разумеется, не оказалось... Самый обыкновенный южно-бразильский город: широкие немощеные улицы, пустыри, обнесенные деревянными заборами, а между ними кое-как выстроенные дома. Есть и большие,

в два этажа, с огромным количеством окон, а чаще — маленькие, но все неизбежно белые и только двери да окна обведены разноцветными полосами, преимущественно— зелеными и желтыми*... Улицы все, конечно, выходят на выгоны, покрытые мелкой травой, на фоне которой рассыпаны букетами араукарии... Свободно — задыхаться не приходится!..

Без всяких затруднений добрались мы и до палаццо де Пирасикаба, — оказалось, тот же продолговатый кубик, ничем не отличающийся от своих соседей: стены сплошь выложены изразцами, а решетки окон и балконов усажены множеством стеклянных и золоченых шариков, — словно фонарики, сверкающие на солнце. Блеска много, глянцевито, точно окунули его в гумми, и он еще не высох. Постучались — ответа нет; толкнули дверь — не заперта... Вшли мы... Интересного тоже ничего не оказалось... Мебели в комнатах мало, а вся, какая есть, непременно из палисандрового дерева... Но старье ужасное!.. Покрыта лаком, а сверху — такой пылью, точно на нее никто не садился со времени рождения моего приятеля... Вот обои только..., Вы ведь знаете, что бразилец прежде всего требует, чтобы они были ярки, светлы, чтоб золотились, серебрились и резали глаза, но это еще не все, — нужно, чтобы эти яркие цвета были скомбинированы самым невозможным образом. Так и тут: стены салона, что ли, так и слепили обоями ярко-зеленого цвета, с золотыми и желтыми разводами, — представляете, каково с непривычки смотреть на эту прелесть? Но для бразильца — верх совершенства, — безвкусно и патриотично, чего же больше?..

В доме никого не оказалось, и вот по полуусгнившим ступенькам сошли мы в сад... Собственно, с Коретибы только и начинается садовая культура ваших, европейских фруктов, так что и этот запущенный сад походил на здешние, но только яблони и груши развивались, по-видимому, слабо благодаря глушившим их персикам. Это дерево дости-

* Национальные бразильские цвета.

гает здесь размеров колосальных, а количество плодов на нем положительно не поддается описанию. Мы теперь точно попали в какой-то лес или парк персиков и пробирались по нему не без труда, так как почва сплошь была покрыта упавшими плодами.

— Скажите, пожалуйста, Карлос, — обращаюсь к своему приятелю, — что ваш отец с ними делает?...

— Да как вам сказать: свиней вот кормит, — они у него тут в яме сидят, а так ничего...

Однако, поминутно спотыкаясь и раздвигая ветви, добрались мы, наконец, до небольшой прогалины, и вот тут-то имел я удовольствие в первый и последний раз увидеть графа де Пиасикаба... Представьте себе старишку — сухого, бледного, в широком изношенном сюртуке, бывшем когда-то черным, а теперь какого-то пепельно-серого цвета. Из полного комплекта пуговиц уцелело только две-три, никак не больше; шляпа, покрывавшая клочки желтовато-серых волос, тоже напоминала о далеких и лучших временах. Старишко обходил яблони, окружавшие прогалину, и, останавливаясь перед каждой, палкой проверял количество плодов, а затем заглядывал в какую-то тетрадку. Вдруг он остановился и дребезжащим голосом закричал:

— Себастьяно! Иди сюда, старый мул!...

На это вежливое приглашение раздвинулись кусты и из них показался другой старик, но уже совсем в лохмотьях, и поспешно заковылял к зовущему.

— Ты где же это был?.. Ну, теперь скажи мне: где вон там с яблони, что под № 32, где три яблока? Да вот с № 10 два?.. Куда девались? Признайся, проклятый негр, — съел или продал кому?..

— Что вы, хозяин?!.. Разве я смею?.. Да вот и счет мой... — и он вытянул откуда-то длинный стебель сахарного тростника, весь покрытый какими-то зарубками. — Вот, хозяин: на этой было 54 яблока, три упало — осталось 51...

Фазендадо заглянул в свою тетрадку.

— Так! — согласился он. — А где упавшие?..

Негр подал, и странный граф начал их внимательно рассматривать; потом разрезал яблоки пополам:

— Вот так-то лучше, чтоб не подменил. Возьми и снижи на шнурок, а потом повесь на солнце. А прежние-то у тебя целы, старый шакал, — ведь я им счет веду... Незаметно не украдешь...

— Все целы, хозяин, все!.. Как глаз их берегу!.. — отвечал негр с каким-то даже торжеством.

Старикашка развернул свою тетрадку и начал писать, бормоча:

— Снизано еще два яблока, т. е. четыре половинки. Хорошо!.. Ну, а теперь, с 10-го № где два яблока?

— Вот, хозяин... Тоже упало оно...

— Одно, а другое где?..

— Простите, хозяин: не досмотрел, а, может, оно и еще гнилей было, так, упав, и рассыпалось...

— Как?.. Пропало? Да что ты разорить меня хочешь?.. Лучше других, должно быть, оказалось, так ты его и продал. Гляди, Себастьяно! Понравится свои деньжонки иметь, так, чего доброго, ты и дальше пустишься, — сегодня яблоко, а завтра мой сундук!..

— Помилуйте, хозяин! В мои ли годы за дрянное яблоко душу продавать?.. Да кто и купит-то его, — своих у каждого достаточно...

— Да, тебя послушай только... Наказать, однако, надобно... Вот что, старый, ты сегодня не ходи обедать... Слышишь?..

— Хозяин! да и вчера весь день мы на маниоке да на воде сидели!..

— Не без всего же!.. Маниока и вода! Иной ботокуд и того не имеет. К тому же, вчера и день был особенный, — этого числа скончался мой двоюродный дедушка, так неужели же я, ради его памяти, должен был позволить вам пображничать?

— Так хоть сегодня позвольте подкрепиться чем-нибудь?

— А за что? Сегодня все вы без обеда! Мажордомо умничал: я сказал — маниоки, а он дал маиса... Маниоки не дал он, а маиса я не даю, — не умничай! Cochero не дал водовозу лошади, потому что она больна, а тот, дурак, взду-

мал на себе воду возить; не умничай — оба без обеда!.. А эта ветреница, служанка Манолы, вздумала щепками огонь разводить для утюга — без обеда! Не для тебя ж и Пеппе жечь дрова, портить провизию и мои горшки? Да ты же вот и провинился, а Пеппе наверное провинится...

Не знаю, чем бы окончился этот оригинальный разговор, но тут мы оба сочли нужным обнаружить свое присутствие... Однако, неожиданное появление сына произвело весьма слабое впечатление на старика.

— Карлос! — начал он недовольным тоном, — ты зачем таскаешься по саду? Я думал: ты в Монтевидео, а выходит...

— Здравствуйте, батюшка!.. Можете меня поздравить: я произведен...

— Здравствуй!... Поздравляю...

— Я ненадолго, батюшка: через неделю должен уже быть на месте...

— Что ж делать, дорогой?.. Военная служба требует аккуратности и строго взыскивает за неисправность... Поспеши, мой друг!.. Наш обед не скоро, — ждать не стоит... До свидания!..

— Но вы знаете, батюшка, — я отпущен к вам для экипировки и без нее вернуться в Монтевидео не могу!..

— Что за странность?.. Я ведь не портной, чтобы обшивать тебя. На месте сошьют гораздо лучше, чем у нас...

— Я здесь и не собираюсь шить... Дайте вы мне только денег; хотя бы и немного...

Старик подозрительно усмехнулся.

— Денег?.. Сколько же тебе их надобно?..

— Чтобы хватило на самое необходимое, без чего абсолютно невозможно обойтись, мне нужно будет тысячу мильрейсов.

Физиономию графа де Пирасикаба так и перекосило.

— Ты... ся... чу миль... рей... сов! — воскликнул он задыхающимся голосом. — Карлос, что ты? И выговорить вдруг этакой пропасти денег невозможно, не то — чтоб издержать! Ведь в тысяче мильрейсов одних только мильрейсов... ровно тысяча!.. Ты... ся... ча! Уф! Начни-ка считать: один, два,

три, четыре... Куда!.. Сколько времени на это надобно... А ты вдруг — тысяча!..

— Кто же мне тогда поможет, если вы, батюшка, откажете?...

— Да, ты прав!.. Прав, друг мой, дитя мое!.. Я обязан помочь тебе, и потому дам тебе...

Карлос так и замер в ожидании...

— Дам тебе, — продолжал с убийственным хладнокровием его родитель, — дам тебе... хорошей совет. Во-первых, обдумаем, нельзя ли этот же мундир переделать на офицерский? Выворотить его, знаешь, вычистить, перекрасить...

— Что вы, батюшка! — едва на шел в себе силы возразить разочарованный Карлос. — Сукно на нем совсем не офицерское, да и широк он, а теперь их шьют гораздо уже...

— Вот то-то и есть, что все вы, военные, гонитесь за внешностью, а о пользе нисколько не заботитесь — носили бы солдатское сукно, тогда бы и при революциях вас меньше убивали... Потом сукно... Скажи, пожалуйста, зачем сукно под таким солнцем?

— Но ведь вы же сами, батюшка...

— Я!.. Не могу же я, граф де Пирасикаба, ходить в пурпуриновой блузе, как заурядный фазендано?.. Да и сюртук мой достался мне еще от твоего деда... Он вообще был рабочим... Однако, мы не кончили... Если уж это так необходимо, то я, так и быть, подарю тебе... тоже твоего покойного дедушки... зеленый плащ! Ширины он необъятной!.. Вот у тебя, мой милый, и выйдет из него две мундирных пары: парадная и на каждый день...

— Да он расползается совсем, этот плащ!.. И цвет неподходящий.

— Цвет!.. Цвет — пустяки, — и перекрасить можно...

— Батюшка! сделайте милость — не откажите мне, — я вас уже очень не скоро попрошу о чем-нибудь.

— Не умел ты слушаться меня, милый мой, — помнишь, как отговаривал я тебя от военной службы?.. Донашивал бы ты теперь моего отца, а твоего деда, сюртуки и на твой век хватило бы их, а так что они — мертвый капитал! Молодость! Думать не умеете!.. Однако я, как нежный и забот-

ливый отец, дарю тебе... широкий, целый суконный плащ!..

— Оставим это лучше, батюшка!

— Оставим, оставим, друг мой!.. Тебе ведь некогда, — ты спешишь... При другом свидании поговорим. Обед не скоро, так что — прощай!.. Засвидетельствуй мое почтение полковнику и поблагодари за производство.

— Но не могу же я возвратиться без денег, батюшка!.. Не должен ли вам кто-нибудь?.. Позвольте мне получить...

— Вот и прекрасно! У меня как раз есть вексель на триста мильрейсов, а с процентами наберется и требуемая сумма, потому что уже лет двадцать, как он просрочен.

— И вы до сих пор не представляли ко взысканию?..

— Из сострадания, мой друг!.. Должник уверял, что у него есть моя расписка об уплате, а потому я боялся причинить себе процессом новые убытки... Потом он умер, имущества после него не осталось, и я, из человеколюбия, покамест это дело отложил... Изволь, возьми этот вексель и получай деньги!.. Теперь прощай!..

— Нет, батюшка, на это я согласиться не могу, а вот не позволите ли вы мне занять?..

— Занять! — с неподдельным ужасом завопил стариашка; но вдруг остановился, точно соображая что-то, и совсем другим тоном продолжал. — Занять? Скажи мне откровенно, сколько тебе нужно на отличную экипировку?.. Рассчитывай так, чтобы урезывать не приходилось.

— Приличная обмундировка и все остальное потребует, я думаю, тысячи полторы.

— Смотри, чтобы не оказалось мало, — ты меня не разоришь.

— Если уж вы так добры, батюшка, то я попрошу две тысячи.

— Хорошо! Можешь занять четыре тысячи.

— На ваше имя, батюшка?..

— Нет, на свое. Занятые деньги мы разделим пополам. Ты обмундируешься, а я, получив мою часть, напечатаю в рио-жанейрских газетах, — на твой счет, разумеется, — что ты отдельной части в моей фазенде не имеешь и потому твой долг — не долг...

Но тут уж Карлос не выдержал, — пожал плечами, молча поклонился отцу и направился к выходу... Я, разумеется, последовал за ним.

Выйдя уже за калитку, наткнулись мы на того же Себастьяно; он сидел у порога и шивал нитками старый женский башмак, готовя себе, по-видимому, обувь на дождливое время года.

— Скажи пожалуйста, стариk, — обратился к нему мой приятель, — неужели отец так-таки и не изменился за это время?..

— К худшему разве, сударь!.. Он ведь теперь сам себя назначил управляющим; платит себе в год сто мильрейсов, а весь доход отдает под проценты. Когда доход больше обыкновенного, он подарки себе делает: сапоги новые, шляпу или платок, а когда что упустит — из жалованья вычитает; за маленькие ж вины оставляет себя без обеда, отнимает сапоги и заставляет себя босиком ходить... Тяжело, сударь!.. Очень тяжело!..

Тем же путем вернулись мы и в Монтевидео.

Вот вам и вся история моего знакомства с бразильским графом, графом де Пирасикаба!

Однако, что это?.. Как будто бы приехали?.. Да! Ну-с, *señor caballero*, будем слезать с этого кресла пыток... А ведь тоже бразильского происхождения!.. Страна, доложу я вам!

ЦВЕТОК РАФФЛЕЗИИ

I.

Если бы хоть один случайный прохожий оказался в это утро на дороге в Ареquipу, то он, несомненно, услышал бы отчетливый и резкий стук подкованных копыт по каменистой почве. Это дало бы ему возможность заключить, что в город едет не простой пастух-вакеро, как можно было бы подумать по доносившемуся из-за поворота пению, а настоящий кавальер на лошади, привыкшей к мощеным улицам города.

Но прохожего не оказалось, и только темно-зеленый кактус мог наблюдать за одиноким путешественником, появившимся из-за скалистого выступа и видным теперь с ног до головы. Прохожий, которого, как я уже сказал, нигде поблизости не оказалось, наверное решил бы, что это иностранец, так как его высокую и стройную фигуру облекал безукоризненно точный во всех подробностях костюм местного асиендандо, т. е. такой костюм, которого бы не надел ни один человек, сознающий, что никто не ошибется в определении его национальности и общественного положения...

Но эта гипотеза неминуемо перешла бы в самую положительную уверенность, если бы отсутствующий прохожий услышал песню, которую довольно сносным тенором выводил наш незнакомец:

Amice! allegre magnanimo e bevimmo,
Nfin che n'ce stace noglio a lucerna:
Chi sa s'a l'autro munno n'ce vedimmo?
Chi sa s'a l'autro munno n'ce taverna?..*

* Дружище! пить будем мы весело оба, / Пока наша лампа горит кое- как: / Кто знает, что ждет нас за крышкою гроба? / Кто знает, найдем ли там этот кабак?..

— *Italiano!* — решил бы наблюдатель, и проезжий утратил бы для него всякий интерес.

Быть может, темно-зеленый кактус был об этом и другого мнения, но если так, то он жестоко ошибался, потому что в это светлое утро по дороге в Арекипу ехал не кто иной, как сам синьор Паоло Паталоцци, недавно поселившийся за городом в своей асиенде, которую он купил у Косме Эредиа, как купил, правда — сильно запущенные, но все же селитряные копи у старого Бартоломео Велакеса и залежи гуано у одной английской компании.

Едва ли это понравится синьору Паталоцци, но мы прекрасно знаем и причину, принудившую его сегодня встать раньше обычного и предпринять такую отдаленную прогулку... Еще вчера вечером его домоправительница, донна Роза, ворчала целый час и никак не могла понять, зачем такому молодому, но основательному кавальеро жениться вообще, и делать предложение дочери Косме Эредиа — в частности... Вежливое замечание ее хозяина, желавшего осведомиться, «замолчит ли когда-нибудь эта старая чертовка», ничего не раз решило в сомнениях почтенной дамы, и вопрос оставался по-прежнему открытым...

Весьма возможно, что это приятное воспоминание и вызвало теперь улыбку на лице синьора Паталоцци, но в это время его конь споткнулся, — и всадник поневоле должен был покинуть мир мечтаний. А когда он, энергично выругавшись, опять поднял голову, то перед его глазами уже раскинулась показавшаяся из-за поворота Арекипа.

Нимало, по-видимому, не оскорбившийся мустанг почувствовал на своих боках уколы шпор, произведшие на него гораздо большее впечатление, чем нравственные сентенции его хозяина; и благодаря этому, мгновенно перейдя в галоп, он окружил себя молочным облаком известковой пыли и вместе с ним понесся по узким улицам городка...

II.

Несмотря на быстроту аллюра, синьору Паталоцци беспокоиться не приходилось, — солнце уже поднялось высоко, и потому нигде не было видно ни одной живой души. Быть может, вы, читатель, и не торопили бы так своего коля, но нашему приятелю слишком хорошо были знакомы эти прямые улицы с домами однообразной архитектуры, построенными из каменных массивных кубиков. Все стены здесь сложены из вулканического туфа, беловатого и рыхлого, который уже столько веков добывается в огромных каменоломнях, расположенных неподалеку от города, у самого подножья Мисти. Он постепенно отвердевает на воздухе и приобретает от старости тот желтовато-золотистый цвет, которым так ласкают непривычный взгляд все уголки приветливого городка.

Однако же, массивные, в один этаж, дома совсем не кажутся однообразными, так как все стены их, колонны, арки сплошь покрыты бесчисленными барельефами: повсюду вьются змеи по неуклюжим каменным стволам; стоят на задних лапах тигры, ягуары, и все окружено гирляндами массивных виноградных лоз или же линиями арабесок и сталактитов, которым могла бы позавидовать Альгамбра.

По большей части все арекипские дома — квадраты, но только трехсторонние; четвертой стороной является такая же массивная стена забора, с монументальными воротами, которые до самого заката солнца раскрыты настежь, и с улиц видны *patio*, наполненные зеленью и самыми роскошными цветами, среди которых иногда звучит прозрачная струя фонтана и точно алмазы сыплет на благоухающие чашечки и лепестки.

Мелькнет там вдруг грациозная фигурка; прозвенит аккорд гитары, серебристый смех внезапно оживит всю фееричную картину и перенесет вас в глубь неведомых веков, — так это все волшебно, так непохоже на остальное существующее хотя бы и в той же Америке, строго говоря, только немного изменившей вкусы и привычки переселив-

шихся сюда или бежавших европейцев.

Все здесь с какой-то томной грустью напоминает вам о том, что уже было и что не придет назад... Точно душа великой империи инков витает над этим изолированным кордильерским уголком и властно порабощает нашу юную бессильную культуру...

Роскошные букеты деревьев и кустов, усыпанные шелковистыми цветами трепещущих мимоз, склоняются над голубым гелиотропом, над стройными кустарниками роз, над клумбами гардений, благоухающих так, что этим ароматом буквально насыщен весь дрожащий и прозрачный воздух Арекипы. Везде журчит вода оросительных каналчиков, бегущих вдоль всех улиц и посреди их или же у тех же старых золотисто-желтых стен...

III.

Еще поворот — и синьор Паталоцци на всем скаку осаживает своего коня перед верандой одного из домов на главной улице «Мерседес», пересекающейся неизбежной четырехугольной площадью с собором, который гордо возвышается над величественной папертью, спускающейся к площади рядом широких ступеней.

На веранде, у боковой ее колонны, он мельком замечает обнявшуюся парочку, вероятно, влюбленных слуг, которые, ни разу не обернувшись к улице, медленно сходят вниз и исчезают в глуби разросшихся кустов и невысоких пальм... Но его теперь занимает совсем другое, — бесшумно, точно тень, выходит из *patio* пеон, принимает из рук прибывшего усталую и разгоряченную лошадь и молча же, одним только жестом руки, приглашает ее хозяина войти.

Синьору Паоло совсем не нравилась такая странная манера приглашение, повторяющаяся неизбежно всякий раз, когда он приезжал с визитом к дону Эредиа, — но изменить ее он не имел никакой возможности, — слишком уж не гармонировала темнота его происхождение со въевшейся в

плоть и кровь этих слуг идеей «голубой крови»... Он мог бы, разумеется, обратиться к поддержке их хозяина, — но этот способ даже и его покладистому самолюбию казался слишком унизительным, хотя он прекрасно понимал, что дон Косме без возражений исполнил бы его желание, так как дела у старика были совсем запутаны, а все наиболее крупные векселя лежали в письменном столе того же синьора Паталоцци.

Достойный капиталист вообще не любил заниматься самообманом, свойственным натурам нерешительным, а потому нимало не сомневался и в действительных чувствах своей невесты, хорошенькой Розиты, выходившей за него замуж, чтобы спасти остатки состояния и чести фамилии Эредиа. Трудно, конечно, допустить такое суровое сознание своих обязанностей у молоденькой девушки, почти ребенка, но если упомянуть о железной воле и непреклонности ее отца, то тогда все станет ясным и не требующим объяснений...

Должно быть, если и не такие точно, то — во всяком случае — весьма похожие мысли занимали в это время и самого синьора Паталоцци, так как по его лицу сперва пробежала тень внезапно возникнувшего подозрения, но вслед за тем сменилась самой обворожительной улыбкой, после чего оно не замедлило принять вид самодовольного благоволения, которое, обыкновенно, на нем и удерживалось все время, пока его обладатель оставался в доме дона Косме.

— Av... — начал было синьор Паталоцци и оборвал свое приветствие на полуслове.

И было от чего: он стоял перед небольшой цветочной клумбой, посреди которой подымалось несколько высоких розовых кустов, совершенно закрывающих скамью из тесаного камня, стоящую позади них. В существовании скамьи он твердо был уверен; настолько же твердо, как и в том, что голоса, заслышанные им теперь, принадлежали: один — его невесте, а другой... Вот этот-то другой, незнакомый ему голос и был причиной того, что синьор Паталоцци неподвижно остановился на усыпанной мелким песком дорожке и напряженно стал прислушиваться.

— Нет, это слишком страшно, мой дорогой Энрико! —
голос Розиты...

— Чего же ты боишься?.. Что тебя пугает?.. — мужской
и даже как будто бы знакомый голос...

— Как что? Отец мне этого никогда не простит... Ты ду-
маешь, я не боролась? O, Madre de Dios! Сколько я умо-
ляла! сколько плакала!.. И все напрасно!

— Ну что ж, — тогда... у нас иного выхода не может быть.

— Но как отец?.. Он так надеялся...

— Да неужели же он думает, что эта итальянская соба-
ка и в самом деле пощадит его? Наивность, жалкая наив-
ность!.. Согласись, Розита! Умоляю тебя — согласись!.. А там,
с помощью Пресвятой Девы Марии, и твой отец, наконец,
поймет свою ошибку.

Но дон Паоло уж не слушал, — с него было вполне
достаточно; крадучись, он сделал несколько шагов и, как
только убедился, что его уж не услышат, бросился по нап-
равлению к дому со всей скоростью, на какую только были
способны его ноги. Не уменьшая аллюра, промчался он
мимо пораженных слуг и прямо ворвался в кабинет хозяи-
на.

IV.

— Эй, дон Косме! Кто у вас в саду, а раньше — на веран-
де?.. — закричал он запыхавшимся голосом, не обращая вни-
мания на изумление старика, поднявшегося навстречу гос-
тию.

— Розита... Но что с вами, дон Паоло?.. На вас лица нет...

— А с ней? — лаконически прервал его синьор Паталоц-
ци, не отвечая на вопрос.

— Дон Энрико, мой бывший управляющий на той са-
мой асиенде, которую вы...

— Которая теперь стала моей... Знаю!.. Берегитесь, дон
Косме, — я этого вам не прощу!..

— Но, ради Бога, что случилось?

— Что случилось... А то, что ваша дочурка влюблена в этого бродягу. Но это пустяки, — мне дела нет до ее сердечных тайн. Я их напомню ей потом, а пока... поспешите, дон Косме! Поспешите, — они там что-то затеваюят, чтобы расстроить нашу свадьбу... Да поспешите же, черт возьми!..

Должно быть, голос говорившего был достаточно убедителен, потому что дон Косме, ничего больше не спрашивая, оттолкнул итальянца в сторону и бросился к дверям.

— *Caramba!* — воскликнул он на бегу и скрылся.

Дон Паоло вздохнул поглубже и тоже вылетел из комнаты.

В течение минуты на обширном *patio* слышно было только тяжелое сопение и дружный топот четырех ног. Но вот все стихло, и оба кавальерио, запыхавшись, остановились перед злополучной скамейкой...

Однако, на ней не оказалось никого, и только кружевной веер, небрежно брошенный среди цветов, служил наглядным доказательством того, что его обладательница еще недавно была здесь. По-видимому, судьба на этот день самым недвусмысленным образом повернулась спиной к своему любимцу, сеньору Паталоцци.

Оба преследователя стояли теперь молча друг против друга и тяжело дышали. В это же мгновение со стороны улицы послышался быстро удаляющейся лошадиный топот.

— Матерь Божия! Какой же я болван! — воскликнул сеньор Паоло.

Дон Косме бросил на него неопределенный взгляд, отнюдь не отрицающий правильности последнего суждения.

— И как я только сразу не догадался, когда этот проклятый конюх, точно из-под земли, вырос передо мной... Обыкновенно ваши слуги не отличаются таким усердием... Эх, ворона вы старая!..

— Сеньор!..

— Да что сеньор! — досадливо махнул рукой Паталоцци и с внезапно вспыхнувшей яростью закричал: — Чего же вы стоите, как мексиканский истукан? Ведь они только что ускакали... Лошадей! Скорее лошадей!..

Но тут уж, наконец, дон Косме пришел в себя и со всех ног бросился к конюшням.

Прошло, однако, немало времени, пока им удалось начать свою погоню: уздечки оказывались исчезнувшими неведомо куда; седельные подпруги зачем-то были отстегнуты от седел, а лошади, точно с намереньем, пугливо косились на пеонов и — то и дело — старались вырваться у них из рук. После получаса бесполезных криков и энергичной ругани кое-как преодолели все препятствия, — и маленькая кавалькада вихрем вылетела из ворот... Совершенно ясные следы красноречиво указывали направление, которого надобно было держаться, и потому никаких сомнений возникнуть не могло...

V.

С головокружительной быстротой мчались лошади, давно уже оставив позади себя последние дома окраин, и с каждым шагом все дальше углублялись в роскошную долину Арекипы... У асиенды Паталоцци, где к ним присоединились еще несколько слуг покинутого жениха, ненадолго остановились, после чего погоня возобновилась с удвоенной энергией... Еще два-три часа такой же адской скачки, — и, наконец, преследователи заметили далеко впереди себя две темных точки, быстро подвигавшихся по направлению к лесу, который пушистой бахромой чернел на самом горизонте. Было очевидно, что от погони им не уйти, но покамест их отделяло от нее такое расстояние, что самый чуткий слух не мог бы разобрать немногих слов, которыми обменивались преследуемые.

— Боже мой!.. Энрико, они уж близко, — мы погибли!..
— Еще несколько минут... Скорей. скорей!..
— Но я не могу... «Кэридо» захромал и не добежит до леса...
— Пять-шесть минут выдержит...

— Быть может... Я падаю, Энрико!.. — Я па... — и шум тяжелого падения заглушил последние слова. Благородное животное, со сломанной ногой, лежало неподвижно на земле, а подле него стояла девушка, поднявшаяся на ноги в одно мгновение с тем, как ее спутник соскочил с седла.

— Да, сломана, — пробормотал молодой человек после беглого осмотра ноги упавшего коня. — Но ничего, — мой выдержит обоих...

Он сделал быстрое движение к своей лошади, но тотчас же остановился... Три или четыре всадника, опередив остальных, воспользовались задержкой беглецов и теперь уже были шагах в двухстах от них... В такие мгновения мысль работает с горячечной быстротой и, повинуясь голосу инстинкта, Энрико мгновенно сорвал с седла винтовку и опустился на одно колено.

Два сухих, коротких выстрела точно слились друг с другом...

— Скорей, Розита! — воскликнул он. — Садись за мной. Держись покрепче, — и, пока всадники, остановив своих лошадей на всем скаку, подымали раненого товарища и высвобождали из-под убитого коня другого, — беглецы опять помчались...

Но вот и лес... Со всех сторон сплошной стеной поднялись густые папоротники и бромелии, а стук копыт совсем был заглушен ковром густой травы. Прохладный и сухой воздух приятно освежал разгоряченное лицо, но, несмотря на эту сухость, то и дело приходилось переезжать через ручьи, или журчащие по отшлифованным камням, или разлившиеся в маленькие болотца, сплошь заросшие цветами: пестрой листвой калеоса и массой великолепных групп антурий. Подчас два-три таких ручья сольются вместе и образуют лесное озеро с бордюром светло-зеленых камышей, среди которых поднимаются темнеющие рощи пышных и густых бамбуков, перерастающих деревья леса и рисующих на чистом небе дрожащие узоры своих ажурных листьев.

Вода этих озер, ярко горящая на солнце, когда оно прорвется сквозь купол окружающих дерев, у берегов всегда

покрыта густо сплетенной листвой разноцветных водорослей, по которым мелькают белые цветы огромных неню-фар и морских лилий. А неподалеку от берегов кое-где рассыпаны бутоны еще не распустившихся раффлезий, похожие на кочни невероятной величины капусты, а иногда, как колossalный снежный ком, на яркой зелени белеет и сам этот царственный цветок, самый большой в мире, не знающий соперников нигде.

Пять колossalных мясистых лепестков, немного загнутых наружу, ложатся прямо на роскошную траву и, благодаря контрасту, кажутся совсем белыми, имея, на самом деле, такой же цвет, как кожа человека, а вогнутая середина и выпуклое кольцо, окаймляющее дно цветка, точно сочатся свежей кровью...

Перед одним из этих цветков, уже готовым распуститься, но с еще не опустившимися лепестками, остановилась теперь измученная лошадь... Сначала благородное животное, казалось, и не почувствовало двойной тяжести на своем хребте и с прежней скоростью продолжало мчаться все дальше и дальше от того места, где погиб его товарищ; но гладкая равнина скоро кончилась, а почва все гуще покрывалась древесными корнями, невидимыми в траве, — и быстрый бег замедлился.

Еще два-три перепрыгнутых ручья, — и после них покрытый пеной конь стал вздрагивать всем мускулистым телом... Продолжать скачку было невозможно, — в этом не сомневались оба беглеца. Они остановились...

VI.

Девушка молчала, подавленная сознанием безвыходности положения, а ее спутник, бормоча проклятия, как затравленный шакал, дико осматривался по сторонам. Быть может, это был слуховой обман, но им казалось, что издали уж доносился шум приближавшейся погони. Молодой человек побледнел, но мгновенно успокоился и, вынув из

кобур оба револьвера, подошел к Розите и остановился рядом с ней... Но в эту минуту его взгляд опять упал на яйце-видную, полураспустившуюся раффлезию.

В черных глазах Энрико вспыхнул огонь вдруг пробудившейся надежды...

— Скорей, Розита! Скорей! — воскликнул он, бросаясь к этому цветку и отодвигая в сторону один из лепестков.

Объяснений не нужно было. Девушка быстро подошла к цветку и, мужественно преодолевая отвращение к тяжелому запаху, который он издавал, опустилась на колени и скрылась за оболочкой лепестков. Через секунду последний из них присоединился к четырем другим.

Энрико опять вскочил на лошадь и со всей скоростью, на какую она теперь была способна, помчался дальше, к асиенде своего друга, Хосе Чараля, где он мог найти десять-двенадцать человек и с ними снова возвратиться, не опасаясь больше ни синьора Паталоцци, ни его людей...

Лес точно поглотил его, и постепенно исчезли последние следы тревоги, произведенной в этой глухи появлением неожиданных гостей. Обратно прилетел целый табун белых цапель, выстроился в ряд и стал на опушке тростников, не шевеля ни одним членом и глубокомысленно глядя в воду. Появились и зашныряли между водорослями юркие нырки, большие и маленькие, черные, коричневые и красноватые. В траве засуетились стада куропаток и диких курочек, а наверху, в густой листве, своими резкими, как будто сердящимися голосами опять начали трещать вернувшиеся зеленые попугаи.

Но вдруг все голоса мгновенно стихли, и на несколько секунд воцарилась глубокая, ничем не нарушенная тишина. Где-то далеко в глубине леса послышались опять малоизвестные, необыкновенные здесь звуки... Как по команде, подняли цапли головы, ступили два шага и, точно рядом белых флагов, взмахнув своими крыльями, поднялись и бесконечной вереницей потянули над вершинами деревьев.

— Ш-ш-ж-ж... — раздалось в густой листве.

Ярко-зеленое облачко стрелой пронеслось над озером и скрылось, а вслед за тем послышался резкий треск сухих

ломающихся веток, тяжелый топот, — и через прогалину промчался небольшой отряд...

— Проклятая капуста! — выругался скакавший впереди всех синьор Паталоцци, когда его конь одним прыжком пронесся над нашим полураспустившимся цветком с довольно необычным содержимым.

Минута достаточно комичная, но бедная Розита едва ли была в силах отдать ей должное, — тяжелый запах странного цветка кружил ей голову и заставлял кровь с силой стучать в виски. Все члены ныли и болели от непривычной и неудобной позы; стоя на коленях, с согнутой спиной, чтобы занимать возможно меньше места, она довольно долго пробыла в своем необычайном заключении...

Вернувшийся Энрико нашел ее лежащей в глубоком обмороке на инстинктивно разломанном ею цветке раффлезии и, еще не пришедшую в сознание, посадил перед собой на коня.

VII.

А дальше?... Дальше вот что: бродя без цели в прекрасный летний день вдоль тихих улиц Арекипы, я зашел попросить стакан воды в один из *patio*, куда меня привлек веселый смех двух ребятишек, игравших в прятки между роскошными кустами цветущих роз. При виде незнакомого лица мальчик мгновенно скрылся, а девочка довольно мужественно выслушала мою просьбу и уже готова была ее удовлетворить, но тут моя спина подверглась энергичной атаке со стороны ее братишки. Затягиваясь возня, и шум ее привлек внимание матери детей, так что поневоле пришлось мне познакомиться с сеньорой Розитой Дородано и ее мужем, доном Энрико.

Появился на сцену и стакан воды, но за ним последовала «*una copita del vino tinto*»*, за ней другая, третья —

* Стаканчик красного вина.



«Эпико напечь ее ляжкой въ глубокомъ обморокѣ»...

и кончилось все это тем, что я до самого заката солнца пробыл в этой веселой и жизнерадостной семье... Осматривал старинный прохладный дом, пристройки, где помещались слуги, и на редкость хорошо содержимый *patio*, где глаз не знал, на что смотреть, буквально ослепленный роскошным сочетанием всех существующих оттенков и цветов... И вот, когда все было осмотрено, донна Розита провела меня в глубь *patio*, где на отдельной клумбе, окруженной баснословным количеством благоухающих гардений, я увидел роскошный экземпляр раффлезии.

Невероятно большой цветок вносил столь резкий диссонанс в царившую вокруг него гармонию, что я невольно поразился, и тогда хозяйка, улыбаясь, передала мне правдивую историю, которую теперь я повторил...

СМЕЮЩИЙСЯ КАМЕНЬ

I

Завещание графа Санта Фе

Хоть все фермеры с Зеленых ключей и зовут меня Пьером Сансу, но настоящее мое имя Пьер Леруа, граф Санта Фе. Вы иностранец и ненадолго в Канаде... Вам все равно, но мне, доживающему последние годы, а, может, и дни, не хотелось бы умереть, не рассказав кому-либо печальной истории моей жизни.

Родился я и вырос в родовом нашем замке на тихойLuare; герб — сокол, убивающий цаплю, на синем фоне с пятью серебряными звездами... Воспоминание мои об этой ранней поре очень туманны, но они для вас и не нужны.

Прямо из мирной обстановки семьи перешел я в Сен-Сирскую военную школу и был выпущен из нее в голубые гусары...

Отец мой скончался; мать умерла, когда я был еще восьмилетним ребенком, и теперь, надев офицерский мундир и громко звенящую саблю, я оказался единственным представителем старинной фамилии, единственным человеком, на котором лежал долг — на подобающей высоте нести незапятнанное имя доблестных графов Леруа Санта Фе...

Шумный, полный заманчивых чар и загадок Париж властно увлек меня в свою глубину, и я, со своим юношеским пылом, торопился изведать все ощущения его напряженной и красочной жизни. Красавец император, боготворимый армией и толпой, тогда только занял место своего знаменитого и, увы, несчастного тезки... Позорный гром пушек Седана был еще далеко впереди, и никто его тогда не предвидел.

Париж веселился... Веселился и сам по себе, и на тех грандиозных празднествах, которые Наполеон, жаждавший

популярности во всех слоях населения, так щедро дарил парижанам.

Служба оказалась игрушкой, простой забавой для представителей блестящих и древних фамилий. Наши пращуры мечами сковали нам славу и имя, а правнукам суждено было покрыть вечным позором орлы империи и лилии Франции...

Но я уже сказал, что это было задолго до тяжелых событий... Если бы нам в то время предрекли их — никто бы все равно не поверил, и все мы продолжали жить по-прежнему, лихорадочно торопясь засыпать золотом прилавки дорогих ресторанов, нисколько не заботясь о том, достаточно ли звонкой монеты и старых поместий остается у нас от фамильных богатств...

Давно уже прошло это время, но и теперь еще не могу я понять, как это случилось, что в полтора, много — два года все мои мызы, первая в крае охота, даже родовой замок, с портретной галереей предков, — все, как золотая вода, проскользнуло меж пальцев...

Как сейчас помню ненастный и дождливый день в конце сентября, когда я, проснувшись с тяжелой головой после вчерашнего кутежа, до ужаса ясно ощутил всем своим существом, что, кроме двух сотен золотых, у меня нет ничего, — что я нищий, более жалкий, чем сидящие у папертей парижских церквей, — так как они хоть могут просить подаяние, они не одеты в блестящий мундир конной гвардии императора...

Рука невольно протянулась к чеканенному серебром пистолету и, я думаю, это было бы лучшее, что я мог тогда сделать. Но судьбе угодно было избрать меня своей жертвой... Лакей на подносе, но уже не серебряном, а только покрытом легким слоем металла, подал мне письмо в большом побуревшем конверте. В сущности, что в нем было интересного для меня? Чем оно отличалось от десятков писем в обложках, пропитанных запахом роз и нарциссов, которые я бросал на стол, не читая? Но каприз человека, для которого все кончено, проснулся во мне.

Я распечатал письмо.

Оно было отсюда, из далекой Канады, и писал его дядя, давно уж покинувший Францию, не снеся торжества легкомысленной черни над обломками славы великого корсиканца... Впрочем, это было совсем не письмо, — что мог писать мне добровольный изгнаник, о котором я не знал ничего, кроме нашего общего имени... Нас оставалось двое на двух полушариях, но сблизить это нас не могло...

Нет, в самодельном конверте оказалось странное, очень странное, но все же завещание моего умершего или умиравшего дяди... И должен сознаться, что в первый момент, несмотря на всю его необычность, я был счастлив безумно... Под руками его у меня нет, но я помню содержание этого рокового листа бумаги от слова до слова.

«Божией милостью я, — стояло на первой строке, — граф Альфонс Леруа Санта Фе, маршал империи и французский изгнаник, вполне владея своими чувствами и умом, пишу свою последнюю волю последнему отпрыску рода, графу Пьеру Леруа Санта Фе. Во Франции, забывшей старинную славу и ставшей страной торгашией, теперь, как известно мне по отрывочным слухам, только золото может дать положение, только оно в силах сохранить незапятнанный герб и спасти его от позорной продажи.

Я умираю. Вы, граф, последний отпрыск стариинного рода. Есть ли у вас золото, довольно ли его сохранилось в фамильных поместьях, чтобы вы могли вести жизнь, достойную ваших прославленных предков? Мне кажется, нет! Итак, вот моя воля:

Оставьте на время Европу и приезжайте сюда. Меня не ищите, не узнавайте, жив я или умер, — мы чужие друг другу, и пишу я не для вас, а для рода. В двухстах лье на северо-запад за Квебек вам путь перережет река с густым сосновым лесом на берегах; спуститесь по ней на два дня пути, и там, по притоку, впадающему в нее под природной аркой из белого камня...»

В этом месте сургуч, которым был запечатан конверт, прожег бумагу, и конца строки нельзя было прочесть...

«Найдя этот “Смеющийся камень”, — стояло в завещании дальше, — под которым один из сподвижников зна-

менитого Жана Давида Но зарыл часть своих несметных сокровищ — как я открыл эту тайну, вас интересовать тоже не может — вы, при помощи десяти человек, достанете их и с чистой совестью можете вернуться обратно во Францию для процветания и благоденствия рода графов Леруа Санта Фе, имя которых вы имеете счастье носить и носил я. Аминь».

Чувство безумной радости охватило меня... Сознание того, что я снова буду богат и свободен, окрыляло меня, делало сильным и смелым. Указаний в завещании моего странного дяди было довольно, и погибшее место меня не лишало надежды. Правда, я знал только, что камень, «Смеющийся камень», лежит на притоке большой горной реки, но одно его имя и величина, — так как нужно было десять человек, чтобы поднять его с места, — наверное, уже составили ему известность среди индейцев той части Канады...

Итак, в путь, в Новый Свет, который даст мне возможность начать новую жизнь на развалинах старой!

Молодость!.. Где эта молодость?.. Но и тогда, на двадцать пятом году своей жизни, в расцвете сил и отваги, я все же недолго оставался под очарованием внезапной надежды... Суровые леса отдаленной страны, полудикие белые и краснокожие дикари, среди которых я должен буду прожить там Бог весть сколько времени, сначала бедняком, а затем колossalно богатым — разве все это не грозило мне гибелью, самой бесцельной и бесславной, какая только возможна?

Не лучше ли умереть здесь, умереть дворянином с еще незапятнанным именем и знать, что вся Франция хоть несколько дней будет говорить о последнем из графов Леруа Санта Фе? Или даже сбросить с себя всю блестящую мишурку и стать простым работником, простым буржуа, но только не покидать родины и могил своих близких и всегда дорогих...

И как знать... Может быть, я и не уехал бы сюда, и не говорил бы теперь с вами под завывание ветра над Мичиганом и шум старых сосен, но... ищите женщину, как гово-

ворят в моей далекой и прекрасной родине — Франции...

Небу было угодно, чтобы женщина, самая прекрасная и самая коварная из всех, которых я знал, вошла в мою жизнь, — и жизнь эта погибла, как членок, увлеченный Мальстремом.

II.

Два трупа

В нашем полку, в моем эскадроне, служил поручик Альфред Воженье. Он-то и познакомил меня с Арабеллой Дюран, сестрой ротмистра черных драгун. Жила она вместе со своим братом в небольшом доме на Королевской площади, который весь они занимали вдвоем. Ротмистр, молодой еще и бравый мужчина, добрый товарищ и усердный солдат, несмотря на это, не пользовался особенной любовью среди офицеров. Не знаю, чем это тогда объяснялось, но кажется мне, что хищное, злое выражение его глаз, каждый раз появлявшееся в них при виде золота или разноцветных бумажек, как появляются когти на бархатных лапках кошки, почувствавшей где-то добычу, — что эта вспышка нечистых инстинктов действовала неприятно на богатую молодежь гвардейских полков и лишила Марселя Дюрана той любви, которой он мог бы добиться. Но зато сестра... О, как хороша она была!

Представьте себе миниатюрную, гибкую, как молодая пальма, фигурку, но вместе с тем хрупкую, как ажурный хрустальный бокал; головку, обрамленную непокорными завитками золотых, как колосья пшеницы, волос; матово-бледную кожу лица и глаза голубые, как небо и, как небо, бездонные, представьте себе — и тогда вы будете иметь тусклый, туманный отпечаток прекраснейшего существа на земле!..

Все мы, начиная с юношей, только что покинувших военную школу, и кончая нашим старым полковником, рыца-

рем без страха и без упрека, все боготворили, как испанцы Мадонну, Арабеллу Дюран, а всех больше тот несчастный, которого звали граф Санта Фе...

Брат ее, кажется, знал это и как-то странно смотрел на меня, когда я безмолвно следил глазами за женщиной, которой суждено было сыграть роковую роль в моей жизни. Ничем она не выделяла меня из бесконечной плеяды своих добровольных рабов, и огромным счастьем казались мне те мгновения, когда, мельком взглянув на какую-либо прекрасную безделушку, стоившую баснословных средств, а иногда — унижений, она подымала на меня свои неземные глаза и голосом музыкальным, как гармония сфер, говорила:

— Ах, как мило! Это прелестно. Как вы любезны, граф!

«Прелестно...» Увы, через день или два игрушка утрачивала свой интерес и исчезала бесследно. Арабелла Дюран появлялась опять в простом белом платье, с украшением из нескольких лент, и оно точно молча просило о новых блестках из драгоценных камней... Они появлялись и вновь исчезали, уступая место другим... Мы соперничали друг с другом, но не знали, хранит ли она их, теряет или раздает, когда игра их и очертание перестают удовлетворять ее тонкий, прихотливый вкус.

Несколько дней прошло уж с тех пор, как исчезли в последний раз драгоценности с платья Арабеллы Дюран, и только багровые ленты напоминали о тяжелых подвесках из кровавых рубинов. Но у меня не было возможности принести свою обычную дань и, терзаемый этой мыслью, я решился на безумный, непоправимый поступок... Слава и честь, фамильная гордость — все оказалось бессильным, но чувство беспредельной любви к ней победило во мне колебания...

Твердым шагом, высоко неся голову, пересек я Королевскую площадь и вошел в маленький домик. Она была дома и была одна. Десятки лет миновали с тех пор, но и теперь еще помню я полчаса, проведенные наедине с Арабеллой Дюран.

Я сказал ей, что люблю ее больше жизни, чести и славы... Сказал, что весь мир сосредоточен для меня в ней одной, что теперь, если она согласится стать моей женой, я тотчас же отправляюсь за океан и оттуда вернусь, обладая всем нужным, чтобы окружить ее такой роскошью, о которой не смеет мечтать ни одна женщина в мире, что самые смелые вымыслы ее дивной фантазии, самые фантастические, недостижимые грэзы, — все будет осуществлено мной, если она снизойдет до меня...

Она смеялась своим серебристым рокочущим смехом, точно не веря мне и, вместе с тем, страстно желая поверить, и наконец, когда я уже еле сдерживал в себе муку, наполнявшую сердце, она голосом, тихим, как шелест ветра в цветах азалии, прошептала:

— Я люблю вас... Ступайте...

С благовением поцеловал я край ее длинного белоснежного платья и вышел, счастливый, как бог...

Почти вышел — вернее, не успел я сделать и нескольких шагов за драпировку, отделявшую от меня комнату, где Арабелла Дюран сказала, что она меня любит, как голос, слишком хорошо мне известный, раздался за ней. Говорил ее брат. Значит, он все время был дома... Обман, незначащий, невинный, но все же обман... Точно неведомая сила сковала меня, и я замер на месте.

Я подслушивал... Да, граф Леруа Санта Фе унился то того, что, как лакей, подслушивал подле двери любимой им женщины!

Но, Бог мой, что я услышал...

Разве в силах понять вы, что пришлось пережить мне, когда слух мой уловил и раскрыл мне гнусную и позорную тайну... Арабелла... Арабелла Дюран, на которую все мы молились, она не была сестрой человека, который звался ее братом! Она, с лицом херувима, точно чуждая всякой мысли о человеческом и земном, только ради наживы, ради презренных благ жизни соединилась с ним и играла перед нами столько времени эту комедию... Мы, как дети, как глупцы, обогащали обоих сообщников, а теперь — да смируются надо мной силы небесные — пришлое мне ус-

лышать, как боготворимая мной женщина злобно спорила с Марслем из-за какого-то утаенного ею от дележа ожерелья...

— Оно должно быть у тебя! Герцог Пьемонтский при мне говорил, что это был его последний подарок...

— Лжет он! Его не было и нет у меня.

— Берегись, Арабелла!

— Будь осторожен, Марсель!

Голоса повышались... И если бы я не знал, что там не было никого, кроме их обоих, я не поверил бы, что один из этих голосов — голос Арабеллы Дюран: так исказила его злоба и алчность.

Но нет, слишком тяжело говорить мне об этом. Ведь я любил, любил эту женщину, несмотря ни на что! И вдруг... вдруг крик, предсмертный вой зверя дико прозвучал там... Как безумный, бросился я к драпировке, распахнул ее и — замер на месте.

Вечер уже наступил, и комната окуталась сумраком. Но у стола, подле которого я еще так недавно говорил с ней, стоял, наклонившись, Марсель Дюран со свечой в левой руке, и ее красноватый, мигающий свет озарял неподвижное тело Арабеллы, лежавшей на этом столе... Тоненькая струйка крови стекала у нее из виска и просачивалась сквозь золотые пряди волос. Корсаж был разорван, и из-за него вытаскивал ротмистр злополучное ожерелье...

Секунда... Только секунда оцепенения — и, с криком выхватив саблю, я бросился в комнату.

Это был честный поединок, без секундантов, без вызова, но он велся по всем правилам чести. После третьего выпада я убил Марселя Дюрана.

На полу стояли лужицы крови, кровь стекала по лезвию сабли, и два трупа лежали у моих ног.

Все мои желания и надежды умерли в этом маленьком доме; никакие сокровища Жана Но не в силах были воскресить для меня Арабеллу, — и с этой минуты здесь, в Париже, во Франции, где угодно в Европе, меня могли бы схватить, как убийцу. Кроме разбитой жизни, смертью на позорном помосте мог бы я расплатиться за свое несчаст-



«У стола стоять Марсель Дюраль со свечою въ руке...»

ное чувство...

Нужно было бежать... За свободой, богатством, за возможностью возвратиться на родину под защитой всесильного золота, погубившего это лучшее из созданий Творца...

И я бежал.

III.

Бесплодные поиски

В последний раз, переодетый в обыкновенный штатский костюм, посетил я свой проданный замок. Огни свелись по-прежнему за его высокими окнами, но зажигались они уже не челядью графов Леруа Санта Фе, и последний отпрыск старинного рода, под покровом ночной темноты, стоял на каменных плитах двора, не смея войти под свой кров, не принадлежавший больше ему.

И в эту осеннюю ночь, не видимый никем, кроме Творца, я поклялся вернуться обратно с тем, чтобы выкупить снова родовое гнездо, — или не возвращаться совсем...

Мне не пришлоось возвратиться.

Прощальный взгляд кинул я на берега Франции с палубы огромного брига, уносившего меня в Новый Свет... Они удалились и точно растаяли, поглощенные морскими волнами, а безбрежная ширь океана разрасталась все больше и больше...

Усталый и измученный, я вместе с другими радостно приветствовал прибытие в Квебек, не подозревая, что все худшее ждет меня впереди. Располагая ничтожным количеством денег и не зная ни одного человека на всем материке, я сразу почувствовал себя таким чуждым той жизни, которая волновалась подле меня, и таким ненужным ни для кого, что отчаяние незаметно закралось мне в душу. Рискованность и даже полная безрассудность этой затеи стала вдруг настолько для меня очевидной, что я совсем упал духом и готов был на всякую глупость, на какую толь-

ко способен человек, потерявший надежду. Но тут непостоянная богиня судьбы на мгновение мне улыбнулась...

Растерянный и удрученный, стоял я на набережной подле своего скромного багажа, не замечая, что ветер сорвал мою шапку и обвевает обнаженную голову, когда почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На расстоянии нескольких шагов от меня, подымаясь над головами толпы, виднелось лицо красно-кирпичного цвета, с гордыми чертами и целым гребнем орлиных перьев, украшавших темные волосы моего наблюдателя. Глаза наши встретились, и он подошел вплотную ко мне...

— Привет тебе, чужестранец, — произнес он гортанным голосом, и ломаный французский язык странно звучал в устах у него. — Ты ведь приехал из-за Соленого озера... Зачем ты прибыл в лесную страну?..

Не знаю почему, но этот полудикарь, одетый, как и все канадские скваттеры, и только сохранивший свои живописные перья, внушал мне доверие. Стараясь подделаться под его язык, я ответил:

— Сюда призвал меня старший в моем племени, — он умирает, и изо всех нас я один только вижу свет солнца. Зовут его Альфонс Санта Фе...

— Так его звали, чужеземец... Великий начальник уж умер, и дух его скитается в стране вечной охоты. Но я обещал ему перед смертью дождаться тебя, провести до белой реки и до двери быстрой воды, найти там тебе столько людей, как два раза пальцы на этой руке, а что будет дальше — это знал великий начальник и должен знать ты. Я не знаю.

Теперь положение вещей совершенно менялось; до прибытия на место мне не приходилось заботиться ни о чем и оставалось только всецело отдаться в распоряжение индейца, который, передав мне поручение дяди, точно превратился в глухонемого и, не издавая ми звука, принял меня под свое покровительство.

Мой европейский костюм пришло, разумеется, бросить и облечься в другой, более подходящий для странствований по канадским лесам, и мы, не теряя времени, че-

рез сутки после моего прибытия в Квебек надолго углубились в темнеющие заросли сосен. Строго проверенный компас — для меня и яркие звезды для двух моих спутников, — у моего индейца оказался товарищ, — указывали направление пути. В течение нескольких дней мы все дальше углублялись в леса, на северо-запад.

Наконец, на пятый или шестой день поредевший лес не сгущался уж больше, и в просветы между стволами колossalных деревьев блеснули мутные воды реки, протекавшей в крутых берегах, покрытых глыбами известкового камня. Первая половина пути была кончена — и нас ожидала вторая...

Из темного дупла лесного гиганта индейцы достали приспособленную раньше пирогу, спустили ее на реку, — и наше плавание началось. На дне мы сложили припасы, патроны и ружья; оба индейца — один на корме, а другой на носу — взялись за легкие лопатообразные весла, а я занял свое место на середине пироги и, опираясь на старую саблю, с которой у меня сил не хватило расстаться, напряженно всматривался в береговые уступы, ожидая, что вот-вот обрисуется «арка из белого камня»...

На груди, через плечо, висел у меня футляр, в котором, вместо бинокля, лежало несколько динамитных патронов, — «Смеющийся камень» мог оказаться тяжелее, чем рассчитывал дядя, и тогда, рискуя даже повредить прикрытое им сокровище Жана Но, его пришлось бы взорвать...

Едва только солнце садилось и сумерки сгущались, переходя в темную ночь, как мы останавливались где-нибудь под защитой каменистых уступов и там ждали наступления дня, чтобы снова отправиться в путь. И так прошло ровным счетом два дня и две ночи... На третью сутки, едва только солнце позолотило поверхность реки, как я увидел на противоположном берегу ярко-белую меловую скалу, точно пробитую горным потоком, над которым она подымалась гигантской аркой.

Под мерными ударами весел пирога, плавно покачиваясь, направилась к ней и остановилась у самого входа,

которому, как я тогда думал, суждено было стать входом в мою новую, более счастливую и славную жизнь...

Но, Боже, как часто обманывают нас ожидания, как часто разрушаются наши надежды!

Индейцы, о которых я и сейчас знаю столько же, как и в ту далекую пору, действительно доставили мне десять своих заместителей, десять мрачных людей, происходящих, вероятно, от женщин местных индейских племен и скваттеров-англичан. В рысих шапках и войлочных шляпах, в кожаных мокасинах и рубахах из грубой фланели, все они, однако, были вооружены винтовками и револьверами и все были неразговорчивы и угрюмы. Правда, поговорив с моими проводниками, они за баснословно ничтожную плату согласились сопутствовать мне, но никакие попытки к сближению с ними не привели ни к чему.

Я начал поиски камня, сначала не объясняя своим конвоирам, чего я ищу, так как ни одному из них довериться я не мог, но постепенно, когда один день бесплодно проходил за другим, пришлося попросить их совета...

И представьте всю тяжесть удара, всю горечь разочарования, когда никто из индейцев не смог указать мне этого камня; даже больше — никогда и никто из них не слыхал о его существовании где-либо вблизи... «Смеющийся камень» оказался для них таким же пустым звуком, каким был бы и для меня в прежнее время, а для вас и теперь...

После этого исчезла планомерность в поисках заветного места. Мы рыскали вдоль потока по обоим его берегам; отходили вглубь леса и опять возвращались; кружились, точно водимые мстительным духом зарытого клада. Пять или шесть золотых оставалось уже в моем кожаном ранце, а цель по-прежнему была так же далека, как и там, в Старом Свете...

Я снова был близок к отчаянию и, действительно, на этот раз положение было почти безысходным: неспособный ни к какому труду, кроме службы солдата, отделенный океаном от своих немногих друзей и сотнями лье от ближайшего населенного пункта, я был в таком положении, когда отчаяние и простительно, и неизбежно.

Дни, проводимые в лихорадочных поисках, и бессонные ночи с неумолимой точностью сменяли друг друга, не принося с собой ни новых открытий, ни новых надежд...

Я считал уже не дни, а часы, в течение которых индейцы будут оставаться со мной...

И вдруг «Смеющийся камень» нашелся...

IV.

«Камень скорби»

Произошло это так.

Однажды после заката, когда я неподвижно сидел у костра и думал, что завтра мне уже нечем будет уплатить своим спутникам и что будущий вечер я встречу один, со стороны окутанного туманом потока послышался шорох раздвигаемых веток, и на освещенную площадку вышел неизвестный мне человек. Одетый в такие же мокасины, как индейцы, он, однако, был белым...

Светло-русые волосы и такая же борода, вероятно, уже несколько лет не знавшие ни ножниц, ни бритвы, пышными волнами обрамляли его голову, а из глубины их весело и открыто смотрела пара голубых глаз, таких, какие я встречал иногда среди нормандских долин... Взгляд их скользнул мимолетно по мне, по шалашам индейцев, расположенным немного поодаль, и после этого незнакомец направился прямо к костру.

— Здравствуйте, сударь, — произнес он на чистом французском языке и так спокойно, точно мы давно были с ним знакомы и расстались не далее вчерашнего дня. — Недурная погодка, как вы находите?

— Очень... Но с кем я имею удовольствие говорить? Ваше лицо, должен признаться...

— Не говорит вам ничего, или очень мало. Не так ли? Но это зло поправимое — имя мое Мишель, а по прозвищу — Медвежонок. Европейскую мою кличку я и сам уж

успел позабыть. По ремеслу — бездельник, впрочем, такого взгляда придерживаются преимущественно английские скваттеры, я же о себе несколько иного мнения... Теперь перейдем к вам... — и словоохотливый незнакомец уселся со мной рядом... — Вы, разумеется, тоже из старой Франции, и, судя по вашему лицу, канадские ветры еще недавно начали обвевать его; ну, а каким чертом вы здесь занимаетесь с этими бродягами — ума не приложу! По совести говоря, три дня я уже слежу за вами и на первых порах подумал было, что вы из сумасшедшего дома вырвались; но потом сообразил, что у нас еще нет этих продуктов утонченной цивилизации, а следовательно — вы уже сами пострудитесь мне это объяснить...

— А вы не находите, что это было бы странно после такого непродолжительного знакомства?

— Конечно, нет, — вы ведь доверились этим индейцам, а чем я хуже их и менее способен сохранять тайны государственной важности?..

Эта мысль мне показалась совершенно резонной, а кроме того, после завтрашнего ухода проводников, я мог бы предложить ему присоединиться ко мне и попытаться достичь чего-либо вдвоем.

Словом, так или иначе, но я, не колеблясь, передал Медвежонку всю эту грустную историю.

— «Смеющийся камень»... — повторил он задумчиво, когда я окончил свой рассказ. — Откровенно говоря, сударь, мне тоже не приходилось о нем слыхать, а ведь я уже пятнадцать лет брожу с винтовкой по этим лесам!

— Так, значит, никакой надежды нет?

— Надежды? От надежды никогда не нужно отказываться... Ну и болван же я! — воскликнул он вдруг после минутного молчания и хлопнул себя ладонью по лбу. — Какой величины, говорите вы, этот камень? Десять человек, чтобы сдвинуть, нужно? Так?

— Да, да!..

— Знаю, в таком случае... Дело, видите ли, в том, что со временем знакомства с вашим дядюшкой настроение духа у камня успело порядком-таки перемениться... Да вы пого-

дите меня в помешанные записывать, — усмехнулся он, заметив мое недоумение. — Я вам серьезно говорю. Ветер, вода и зимние морозы так повлияли на него, что он не только смеяться перестал, а даже плакать начал, а сообразно с этим и титулюют его «Камнем скорби», а не «Смеющимся», как раньше...

— Так камень здесь, недалеко? — я готов был броситься в объятия к этому странному субъекту.

— Да чего уж ближе — часа полтора ходьбы... Но только тут, сударь, возникает иное осложнение. Дело-то в том, что у индейцев этот камень считается священным, чуть ли не божеством каким-то, — а, согласитесь сами, потревожить спокойствие такой особы едва ли кто-нибудь из них решится. Возможно, разумеется, что вы навели их на ложный след названием «смеющийся», но только мне кажется, что эти бродяги значительно умнее и должны были бы сообразить, что вам требуется и, думаю, прекрасно сообразили, а потому и начали водить вас вокруг да около. Впрочем, мы это проверим завтра, а теперь будем спать... Пора!

На следующее утро, когда все десять индейцев явились ко мне за получением обычной дневной платы, они были неприятно поражены, увидев рядом со мной другого белого и притом из местных жителей. Последнего обстоятельства Медвежонок не находил нужным скрывать; напротив, едва только он убедился, что все они собрались подле нас, как откашлялся и, произнесши несколько живописных ругательств и пожеланий, сразу перешел к делу. В краткой, но энергической речи он указал индейцам на всю гнусность их поведения по отношению ко мне, упрекал их в том, что, зная местоположение «Камня скорби» и понимая, что это тот, который я ишу под именем «Смеющегося камня», они все же не указали мне его, а бесцельно водили по лесу, за что, как полагал мой новый компаньон, их душам будут отведены самые плохие участки в Стране Вечной Охоты.

Проводники мои слушали молча и только время от времени обменивались сумрачными взглядами.

— Ты хочешь, бледнолицый, — угрюмо произнес один из них, когда Медвежонок окончил свою импровизацию, —

хочешь, чтобы мы помогли тебе поднять с земли «Камень скорби» и достать из-под него то, что погребено под ним и над чем плачет он много зим и лет? Но камень этот величественное божество в нашем племени, и никто из мужей его не поможет тебе... И лучше, бледнолицый, уходи из страны лесов за Соленое озеро и не смотри на «Камень скорби», чтобы не прогневить его. Я сказал.

Такая явная и спокойная наглость меня возмутила.

— Вы слишком много хотите, краснокожие господа, — обратился я ко всей этой шайке. — Я, по уговору, честно платил вам за вашу службу и думал, что вы тоже честно исполняете свое обещание. А вы, пользуясь этим, морочили меня столько времени! Ваших услуг мне больше не надо; можете убираться туда, откуда пришли, а я буду поступать так, как мне заблагорассудится. Я тоже сказал. Прощайте!

Индейцы постояли несколько минут, потом повернулись и молча отошли к своим шалашам.

Оставшись вдвоем, мы энергично принялись за свои несложные сборы. Собрали оружие, кирки и лом, кой-что из одежды и съестного; что было можно, поместили в папусиновые мешки, висящие за спиной, и еще задолго до полудня покинули эту стоянку, направившись куда-то в глубь леса.

Должно быть, около часа прошли мы в полном молчании, но вдруг мой спутник полуобернулся и выразительно свистнул.

— В чем дело?

— Поглядите назад...

Я посмотрел: все десять индейцев, на расстоянии нескольких сот шагов, шли вслед за нами.

V.

На волоске

Можете ли вы представить, с каким чувством увидел я этот камень, — смеющийся ли, камень ли скорби — все равно, — но камень, под которым заключена была вся моя дальнейшая судьба... Массивным овалом, действительно напоминающим голову, стоял он посреди небольшой и гладкой лужайки. Время глубокими складками избороздило поверхность его, образуя на ней впадины глаз, выпуклость носа и рот, который раньше, быть может, смеялся, но теперь осенние дожди, замерзая в расселинах, откалывали от него новые куски, и углы рта сдвинулись вниз, образуя скорбные линии плача...

Мы смотрели на камень, а индейцы, остановившись поодаль, — на нас.

С их помощью можно было бы раскачать эту громаду и свалить ее набок, но вдвоем мы были совершенно бессильны, и потому всю надежду приходилось возложить на действие динамитных патронов, с которыми я до сих пор не раздавался. Будь мы одни — это не составило бы для нас никакого труда и опасности, но на виду у десяти пар зорких глаз едва ли можно было решиться на кощунственное разрушение святыни.

Пробовали мы вдвоем расшатать этот каменный шар, но напрасно, — все наши усилия не привели ни к чему, и мне порой уже чудилось, что неровный и чудовищный рот начинает расплываться в улыбку.

Индейцы точно растаяли среди кустов, окаймлявших лужайку, но мы чувствовали на себе их взгляды, а вечером ряд огоньков, окруживших ее, убедил нас, что мы не ошибались...

Так окончился этот день и наступил новый, тоже не принесший с собой никаких утешительных перемен... За ним последовал третий, четвертый и уж не помню, сколь-

ко было всего этих однообразных и томительных дней, проведенных у проклятого камня.

Индейцы, по-видимому, решили донять нас измором: по крайней мере, на их стороне не обнаруживалось никаких признаков жизни и только, когда мы приближались к камню и начинали возиться подле него, то над кустами немедленно подымались их темные головы и следили за нами.

Мне терять было нечего, а мой спутник выразил такое твердое намерение пересидеть наших непрошенных соглядатаев, что мы, после непродолжительных колебаний, взялись за свои топоры, и недели через две невдалеке от камня уже возвышалось грубо построенное здание или, вернее, сарай, в который мы и переселились из-под открытого неба...

Но как до новоселья, так и после него все оставалось по-прежнему. Один из нас свободно уходил на охоту и так же свободно возвращался с нее; другой стерег «дом»; индейцы делали то же, а дни проходили за днями.

Но вот как-то раз Медвежонок возвратился с охоты веселый и возбужденный, — он сделал открытие, которое все изменяло: почти у ручья, протекавшего позади камня, оказалась покинутая своим хозяином медвежья берлога, в которую мой приятель, совершенно неожиданно для себя, провалился... Там-то и пришла ему в голову блестящая мысль... Не подавая вида, что мы на что-либо решились, нам нужно было, уходя на охоту, возможно скорее возвращаться с нее и, незаметно пробравшись в берлогу, прорывать из нее нору под камень и по ней же извлечь оттуда к ручью все, что окажется там. Камень останется целым, индейцы ничего не заметят, и наша медленная пытка окончится.

Конечно, я согласился, и мы горячо принялись за эту работу...

Но она подвигалась медленно... Бог мой, как медленно!

Прошло не меньше десяти дней, пока наша нора приблизилась почти к основанию камня, и вот в этот-то знаменательный день произошла катастрофа, превратившая его в день роковой.

Медвежонок давно уже ушел на охоту или, вернее, рылся в земле, как вдруг со стороны лагеря индейцев донесся сюда какой-то крик, и тотчас же за ним я ясно увидел, как десять фигур, одна за другой, мелькнули вдоль опушки и скрылись в лесу. Момент был удачный, и я, в порыве нетерпения, решил воспользоваться им.

Бросить винтовку и, подбежав к камню скорби, вложить ей в «рот» динамитный патрон было делом минуты. Еще столько же — и последует взрыв, но тут я с ужасом ощутил, что десяток сильных рук вцепился в меня и прежде, чем мне удалось хоть что-нибудь сообразить, мои руки были затянуты за спину и крепко связаны, а сам я стоял перед своими бывшими проводниками, которые теперь кольцом расположились подле меня...

Тот из них, что еще в день появление Медвежонка убеждал меня уходить отсюда обратно за «Соленое озеро», выступил вперед...

— Ты не ушел, бледнолицый... Ты захотел поселиться и жить у священного камня — мы не мешали, но мы не верили, что ты перестал злоумышлять против него, и сегодня, когда того — другого не было, мы сделали так, что ты обманулся и выказал свою черную душу. Хорошо. Ты не ушел — ты умрешь! Я сказал.

Я взглянул на других. Мрачные, ожесточенные лица, сверкающие глаза яснее всяких слов говорили, что рассчитывать на пощаду мне нечего, да я и не стал бы просить ее у этих бродяг...

Смерть улыбнулась мне своим оскаленным ртом, и я приготовился умереть.

Индейцы сгруппировались около бревен со стороны нашей хижины. Двое выступили вперед и, подойдя почти вплотную ко мне, направили на меня дула винтовки и длинноствольного револьвера...

Наступил последний момент.

— Стойте! — крикнул я своим палачам. — Я не хочу умереть, как слабая женщина, и вы не смеете отказать мне в этой просьбе. Я сам скомандую вам и, когда скажу: «три», — стреляйте...

Некоторые одобрительно кивнули головами, — согласие было получено. Я остановился в двух шагах от «Камня скорби», спиной к нему, бросил последний взгляд на безоблачное небо и зеленые сосны и твердо произнес:

— Раз...

Индейцы замерли и точно впились в меня глазами.

— Два... — и, полной грудью вдохнув в себя воздух, я ударил ногой о землю и крикнул:

— Три!..

Я слышал гром выстрелов, почувствовал, что падаю; глубокая мгла охватила меня; но все же я был жив и даже не ранен... Мелкие комья земли скатывались мне на лицо, а кто-то умелыми руками торопливо распутывал связанные меня веревки.

— Бежим, — прошептал он, и по голосу я узнал моего спутника...

Он, ничего не подозревая, копался в нашей норе, когда я ударом ноги обрушил ее непрочный свод и на одно мгновение раньше выстрелов был уже под землей.

С лихорадочной поспешностью выбрались мы из подкопа и, в последний раз обернувшись на нашу хижину, заметили неподвижные фигуры индейцев, распростертых пред «Камнем скорби», поглотившим меня в гневе своем...

Мы бежали, не думая ни о чем, кроме спасения своей жизни...

С этого мгновения окончательно умер для мира Пьер Леруа граф Санта Фе, и его место заступил ваш покорный слуга, фермер Сансу из поселка у «Зеленых ключей».

«PER ASPERA AD ASTRA»

Девять свитков древнеегипетского манускрипта, вывезенного в XVI веке из Мексики «конкистадорами» Кортеса

Свиток первый

Я,alexандриец Зенон, покрываю письменами эти длинные свитки пергамента, чтобы те белые люди, которым когда-либо придется ступить на берега Анахуака, узнали из них, что некогда, во славу Господа нашего Иисуса Христа, один из поклонников Агнца уже посетил эту страну и заронил здесь первые зерна учение Спасителя мира.

Я не думаю о тленной и преходящей земной славе, ни о благодарности потомков прежних моих сограждан... Нет, суетные мысли чужды и непонятны мне, но теперь, за несколько дней до моей гибели, я вижу, что в жизни моей случилось много необычного и поучительного для других, ведущих мирное существование, но грезящих о дальних странствиях и чужеземных странах.

И вот для них, для успокоения их мятущихся и непокорных душ, записываю теперь все, что подымается из глубины моих воспоминаний: деяния, каким я был свидетелем, и те дела, которые дерзновенно совершались мною...

Я родился в Александрии, в царице городов, жемчужине Востока, где некогда правила прекраснейшая из женщин мира и, увы, несчастнейшая среди них, ибо все богоизбранные ее, но не было ни одного, кого бы полюбила Клеопатра. Мне много говорил о ней отец мой, верховный жрец храма божественной Гатор, и по тому, как загорались при таких рассказах его бесстрастные глаза, я мог догадываться, что и он любил прекрасную царицу...

Но ее уже не было в живых, когда я увидел свет моего первого земного дня и, вероятно, в Александрии не было больше женщин, равных ей, потому что сердце мое ни-

когда не билось сильнее при виде одной из них и никогда глаза мои не останавливались на одной какой-нибудь, любяясь всеми ими, как волнами рокочущего моря или рядами стройных пальм. Я был спокоен и одинок.

Отец любил меня и тщательно заботился о том, чтобы никто в священной стране Кеми не оказался выше меня по знанию высоких истин таинственных наук, которые известны были только служителям ложных богов, каким молились тогда мои сограждане, но, уповаю, не молятся уже теперь.

Я изучил законы движения небесных тел, умел предсказывать судьбу людей по течению светил, вызывал бесплотный дух живущих и тени тех, кто уже переселился в обитель смерти... Народ, несмотря на мою молодость, глубоко чтил меня, и потому, когда отец мой отошел в таинственную бездну вечности, то на его место был единодушно избран и посвящен жрецами я.

Но всему этому суждено было перемениться...

Я слишком много знал и слишком долго думал в уединении наших безмолвных храмов, чтобы удовлетвориться теми отблесками истины, которые случайно мы замечали в небесах и которые выдавали людям за истину во всем ее объеме. Душа моя томилась неутолимой жаждой, тоской по вечной истине, и я жадно следил за всем, что хоть немного приподымало тяжелую завесу между землей и светом вечности.

Мне приходилось видеть старцев в огромных белых тюрбанах на головах, покрытых сединой; они являлись к нам издалека, от берегов таинственного Ганга, на которых, как говорят, побывал великий завоеватель эллинов Александр, сын Филиппа. Они рассказывали мне в тени гробниц почивших фараонов о таинствах своей религии, о сладости нирваны, о всеблаженнейших иоги... О многом говорили они в тени старых гробниц, но в душе не запечатлевалось того, что мог уловить мой слух...

Я видел смуглых и чернобородых финикиян, служителей Астарты, видел гордых и молчаливых жрецов Юпитера Капитолийского, но ни одно из этих учений не было вы-

ше служения Озирису и Изиде, и не видел я в них истины, как не видел ее в религии моих отцов.

Покинув Александрию и храм божественной Гатор, тайно от всех я удалился за пределы священной страны Кеми и, как простой, безвестный путник, скитался я по землям и морям в бесплодных поисках иной и вечной истины, служению которой я мог бы посвятить всю мою жизнь и все дарованные небом силы.

Но истины не находил.

И в поисках за ней прошло пять долгих лет, пока в один удущливый и знойный день, при солнце, точно подернутом кровавой дымкой, приблизился я в третий раз к стенам Иерусалима — столицы царства иудейского. Я знал давно эту страну и этот город, но теперь что-то иное, неведомое мне, лежало и на высоких каменных стенах, и на листве безмолвных кипарисов, и в глубине оливковых садов.

Но у городских ворот на ковриках из шкуры бегемотов по-прежнему сидели алчные менялы и, клянясь одновременно именами и Иеговы и Аrimана, обсчитывали чужеземцев, имевших неосторожность обратиться к ним; из глубины запыленной и грязной улицы неслись крики различных торгаши, ослиный рев и звон бубенчиков на шеях верховых верблудов. Все было, как всегда, но я не ошибался, голос души, никогда не засыпающий и не обманывающий нас, мне ясно говорил, что в этом городе свершается что-то великое, чему названия нет и что теперь я близок к цели, которой не мог достигнуть за эти годы странствий из страны в страну,— только теперь и больше никогда.

Приблизившись к стене, я подошел к меняле, седина которого уже покрылась желтизной, и попросил разменять мне горсть серебряных монет Эллады, и, пока он взвешивал их друг за другом, я спросил:

— Не знаешь ли ты, что случилось сегодня в священном городе?... Я чужеземец и не хотел бы упустить невиданного зрелища.

Старик опустил руку с деньгами и бросил на меня изумленный взгляд.

— Что произошло в священном городе?.. Странный вопрос, сын мой! Много новостей бывает каждый день в Иерусалиме. Сегодня прибывает труппа нубийских танцовщиц; красавица Поппaea приобрела новую диадему у старого Захарии...

— Еще, еще!..

— Еще... Не знаю, чужеземец! Спокойствие и мир царят в Иерусалиме под мудрым правлением проконсула Пилата; неусыпно он стоит на страже благоденствия всей Иудеи и не жалеет сил для этой цели. Недавно вот пришел из Назарета какой-то кудесник и чудак. Он проповедовал любовь и не нарушал законов, но чернь пошла за ним и называла его царем и сыном Божиим... Этот пустяк начал грозить спокойствию страны, и бдительный проконсул,— да будет над ним благословение Иеговы, хоть он и чтит языческих богов, — проконсул судил его и приговорил к распятию на лобном месте. Сегодня казнят троих: его и еще двух других...

Что-то священное, давно желанное прозвучало для меня в этих словах.

— Где это место? — спросил я. — Где?

— И ты пойдешь туда, — возразил мне, не отвечая, иудей, — пойдешь смотреть на казнь несчастного безумца вместе с толпой бездельников и нищих, ты, на лице которого лежит печать высокого ума и благородной крови?..

— Да, я пойду, старик! Оставь себе все серебро, но укажи мне путь туда...

Меняла усмехнулся, пожал плечами и объяснил мне, как найти дорогу, ведущую к Голгофе.

И я пошел.

Это был тот ужасный день, когда Спаситель мира испустил дух, пригвожденный ко кресту, и смертию Свою искупил грехи людей. Я видел, как постепенно бледнели черты Его лица и все тускнел любвеобильный взгляд великого Страдальца. Я слышал последний вопль Его к Предвечному Отцу; видел, как мрак внезапно окутал гору и весь Иерусалим; пережил ужас от содрогания разгневанной земли, но среди грохота разверзшихся утесов я все же был счаст-

лив, чувствуя, что путь мой кончен, что Истина открылась мне с высоты голгофского креста...

Любимый ученик Христа мне передал глаголы Господа, и они поселили мир в моей душе, которого она не знала раньше.

Когда же Он воскрес из мертвых и покинул землю, вознесясь на небеса, то все апостолы, исполняя завет Учителя, оставили друг друга и разошлись по разным странам, чтобы внести свет истины в души, окутанные мраком... И я, Зенонalexандриец, не будучи достоин развязать ремень на обуви Его ученика, дерзновенно отважился на то же и навсегда покинул Иудею, изведав за пределами ее все то, о чем прочтете вы, неведомые братья, на длинных и узких свитках бесстрастного пергамента, которые лежат теперь подле меня в моем дворце, в моей темнице, где протекут последние дни моей жизни и откуда выйду я за тем только, чтоб умереть...

Свиток второй

Да, я решил идти и думал, что путь мой будет лежать на берега таинственного Ганга, но демон-искуситель, вселившийся в меня, прибег к своим соблазнам, и жизнь моя сошла с намеченной тропы, чтобы отдаться во власть хотя и невероятных, но все же истинных событий.

В те годы, когда я был еще ищущим, но не нашедшим истины, мой ум жадно поглощал все воплощенное в клинообразных письменах на листьях пожелтевшего от времени папируса и все, что было скрыто от непосвященных взоров на кирпичах из красной глины, и все запечатленное мыслителями прославленной Эллады на длинных лентах навощенного полотна.

Все это и многое другое, что передавали мне старые жрецы, запомнил я, но многого не получил от этих знаний, и теперь мое хранилище сокровищ мысли я без сожаления готовился покинуть...

И вот, когда я задумчиво сидел на ложе, покрытом манускриптами былых годов, рука моя упала на старый, хорошо мне знакомый свито, и по привычке начала развертывать его... То был «Тимей» — диалог великого Платона, в котором им запечатлен рассказ жреца из страны Кеми.

От пережитых испытаний память моя уж ослабела, но эту роковую повесть я унесу с собой, не позабыв в ней ни слова... «О, Солон! — так начинает в ней свой рассказ незнакомый мне жрец. — Вы, эллины, всегда пребываете детьми. Между вами нет ни одного, который не был бы легко-мысленим новичком в науке древних сказаний. Вам неведомо то, что было совершено поколением героев, которых вы суть выродившиеся потомки. То, что я хочу рассказать вам, было девять тысяч лет тому назад. В наших книгах рассказано о том, как Афины сопротивлялись натиску ужасной державы, которая вышла из Атлантического моря и наводнила большую часть Европы и Азии, ибо тогда можно было переплыть через океан. Тогда существовал остров, расположенный против того устья, которое вы называете Геркулесовыми столбами. От этого острова, который был больше, чем Лидия и Азия, вместе взятые, перебирались к другим островам, а от них к материку, который окаймляет это море... На этом острове, Атлантиде, жили цари, славившиеся своим могуществом, и они основали царство, которое владычествовало над некоторыми частями материка. Кроме того, в наших областях в их власти находилась вся Лидия до самого Египта и вся Европа до Тиррении. Эта могучая держава, соединив все свои силы, одно время предприняла покорение вашей земли и нашей, и всех народов, живущих по сю сторону Геркулесовых столбов. И вот тогда-то, о Солон, ваш город выказал перед всем светом свое мужество и свою силу. Он выдержал самые страшные опасности, одержал верх над завоевателями, спас от рабства те народы, которые еще не были порабощены, а другим, обитающим, как и мы, по сю сторону Геркулесовых столбов, возвратил свободу... Но во время, которое за сим последовало, произошли великие землетрясение и наводнение. В

течение одного ужасного дня и одной ужасной ночи все воины, которые шли к вам, были разом поглощены разверзшейся землей. Остров Атлантида исчез под морем, и вот поэтому-то даже и доднесь нет возможности плавать по этому морю и исследовать его, так как мореплаватели встречают неодолимые препятствия в огромном количестве тины, которую, погружаясь в море, остров оставил на поверхности вод...»

Я еще раз пробежал этот свиток от начала и до конца, и роковая мысль мелькнула в моем сознании: пусть Атлантида опустилась на дно морское, и пусть навсегда погибла ее былая власть и слава, но все ж из тины, оставшейся, как зловещее напоминание о ней, и теперь еще могут подыматься острова — вершины высоких горных цепей, а на них, быть может, существуют и в наши дни потомки тех людей, которые владычествовали над берегами Африки и странами Европы.

Ученики Христа уйдут из Палестины и по лицу земли рассеют свет высоких истин, поведанных Им миру, но кто из них, из этих бедных рыбарей, может подумать о позабытых нами братьях, которые уж девять тысяч лет тому назад точно переселились в царство теней и навсегда покинули наш грешный мир... Идя через пределы одной страны в другую, повсюду разнесут они спасительную весть о Сыне Божием, погившем на кресте и победившем смерть, но никогда суда апостолов не поплынут на запад, туда, где скрылась под волнами великая страна.

Я думал так, и я решил, что не нарушу воли Господа, если решусь на странствие по неизвестным нам морям, чтобы в далеких странах поведать то, чему я сам научен был под мрачной тенью голгофского креста.

И я уплыл от африканских берегов. Невелико было судно мое и не подготовлено для дальних плаваний, но финикийские матросы не спрашивали меня о том, куда держу я путь; каждый раз, когда нарождалась новая луна, получали они условленную меру золота и с лицами бесстрастными, как изображения их богов, говорили мне несколько слов на своем странном языке и уходили прочь.

Немало дней пришлось нам провести между небесным сводом и гладью моря, но вот однажды на заре, когда лучи поднявшегося солнца впервые скользнули по волнам, глаза мои, все время напряженно искавшие заветных берегов, увидели на горизонте туманную гряду. Все ближе и ближе надвигалась она на нас, пока к полудню не очутились мы в виду холмистых островов, покрытых зеленью роскошных пальм и виноградных лоз.

Сама истина запечатлена была в диалоге Платона...

После долгих странствований по неведомым морям мы прибыли к стране, все обитатели которой были прекрасны, как полубоги, а лица их напоминали изваяния в стадиных наших храмах. У них существовали иероглифические письмена, у них были астрономические знаки, они бальзамировали мертвые тела и строили надгробия, подобные тем пирамидам, которые расположены у нильских берегов в преддверии пустыни. У них были и девы, посвятившие всю жизнь служению богам, как в Риме жрицы великой Весты...

Странная, но сладостная музыка сопровождала их религиозные моления, их игры, напоминающие полуразрушенные временем изображения на обелисках страны Кеми, и их общественные пляски...

Живя на этих зеленых островах и окруженные со всех сторон волнами моря, они считали себя потомками великого и благородного народа и единственными обитателями всей земли, так как другие племена, по их преданиям, погибли в годы далекой древности в ужасном бедствии, ниспосланном на землю. В священных книгах их о нем говорилось так:

«Тогда воды поднялись, и сделалось великое наводнение, достигшее до головы людей. Они были покрыты водою, и густая смола спустилась с неба. И лицо земли померкло, и начался сумрачный дождь, дождь во весь день, дождь во всю ночь, и поднялся великий шум над головами их.

И тогда люди бежали и толкались, исполнившись отчаяния. Они хотели подняться на дома, а дома, рушась, роняли

их опять на землю. Они хотели взлезть на деревья, а деревья стряхивали их с себя и откидывали далеко. Они хотели скрыться в глуби пещер, но и пещеры обрушивались перед ними».

Так было некогда, и так будет опять, — вещали народу жрецы зеленых островов, и потому в этой стране никто не вел бесстрастных хроник о совершившихся делах, боясь, что то же бедствие, опять обрушившись на землю, погубит и людей, и все деяния людские...

Больше года я провел в этой стране, где все казалось мне родным и близким, хотя тысячелетия разделяли обитателей ее и детей Кеми, но все мои горячие слова о пострадавшем Боге не находили отклика в сердцах островитян. Они спокойно слушали меня, и любопытство светилось в их глазах, когда я говорил о роскоши Александрии, о римских цезарях и мудрецах Эллады, но потухал этот огонь при первых же словах о Нем, и взгляды их тотчас же обращались к высоким стенам храмов, за которыми светилось неугасающее пламя...

Я отряхнул прах с ног моих и навсегда покинул благоухающие острова. В глуби неизмеримых западных морей нашел я новые архипелаги и новые народы, населяющие их. Те же предания и те же божества были у всех этих племен, и одинаково не проникали в их сердца слова учения Христова.

Все дальнее и дальнее я углублялся в необозримую равнину вод. Священная страна, где мирно покоились останки моих предков, казалась мне теперь неясной мечтой. Последние клочки земли остались на востоке, и три раза свершила теперь луна свой вечный путь по темным небесам, а мы, не видя признаков земли, все продолжали плыть на запад, куда влекла нас роковая мысль, некогда зародившаяся в моей душе.

И, когда наступило новолуние, случилось то, чему суждено было случиться и что было причиною того, что я, Зенонalexандриец, пишу теперь мою правдивую и горестную повесть.

Свиток третий

Я с вечера заметил, как темные громады тяжелых туч со всех сторон охватывали горизонт и молнии сверкали в их мрачной глубине, но финикияне по-прежнему были беспрестрастны и спокойны, и потому я, как всегда, спустился с палубы, чтобы забыться недолгим сном до первых проблесков рассвета.

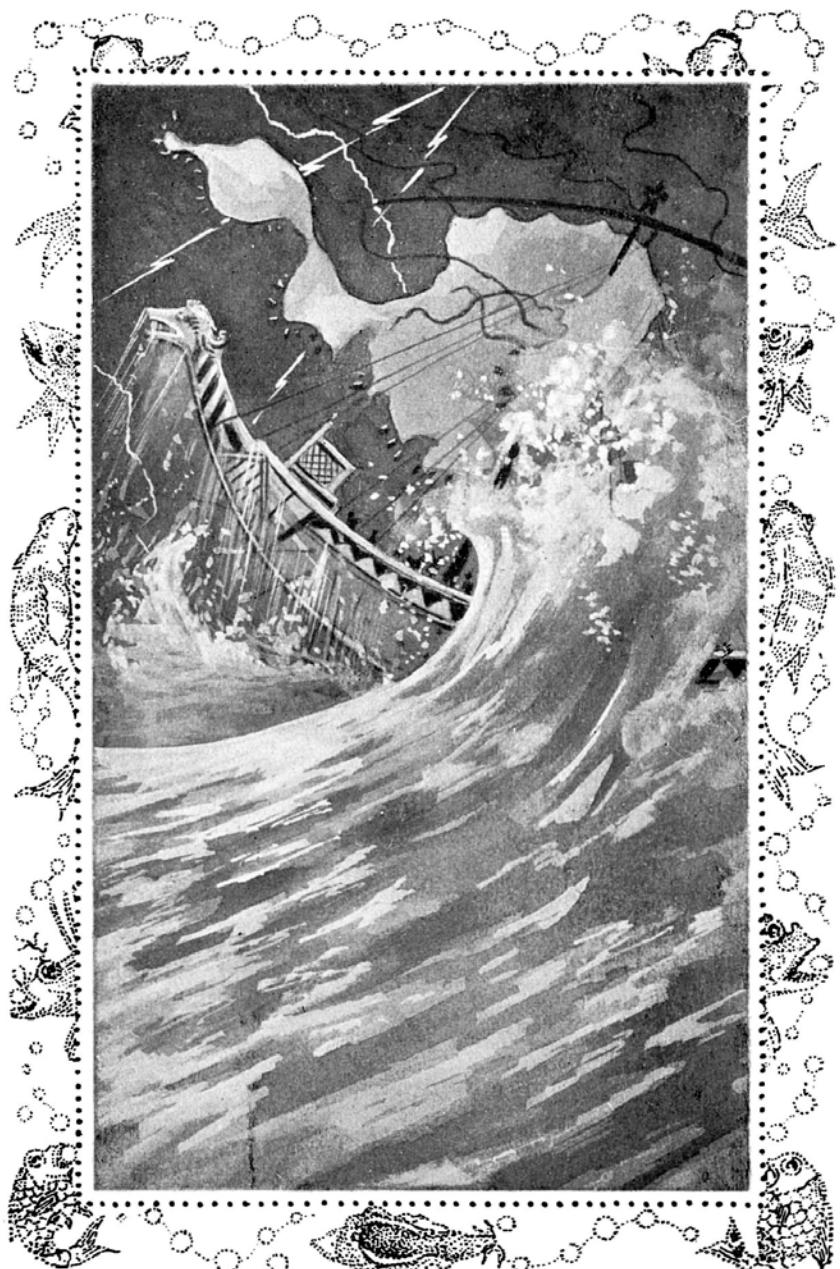
Не знаю, долго ли я спал, но только громовой удар и содрогание непрочных стенок корабля заставили меня проснуться. Накинув тяжелый морской плащ, я выбежал наверх и сразу заметил и понял, что гибель угрожает нам.

Низко спустившийся над нами темно-свинцовый полог с багровыми краями закрыл весь небосклон, но продолжал все более спускаться, почти касаясь до поверхности глухо ревущих вод, поверх которых, точно вспышки фосфора, белели пряди пены. Бесчисленные молнии, как искры, пронизывали толщу туч, громовые раскаты сливались с безумным свистом урагана, а горы, выросшие из разъяренных вод, в стихийной ярости со всех сторон неслись на нас и рушились у борта корабля, смывая с палубы все уцелевшее на ней.

На обнаженных мачтах виднелись только ключья от прежних парусов, а толстые канаты, протянутые с палубы к концам тяжелых рей, гудели, как струны на арфе исполинов... Люди, точно листы, гонимые осенним ветром, носились взад и вперед по кораблю, пытаясь удержаться за каждый выступ, за каждое кольцо, но доски палубы ускользали из под ног; судно, как обезумевший конь, то падало, то подымалось, и вдруг с зловещим треском обрушилась одна из мачт...

Огромная волна внезапно ринулась на нас, кровавой пеленой покрылось все, и я лишился чувств.

Когда сознание ко мне вернулось, от бури не осталось и следа, — небо безбрежное сверкало и искрилось лазурью, необозримая гладь моря была так же спокойна, как воды Нила в сухое время года. Я был спасен, и только, ко-



«Безчисленные молнии, какъ искры, пронизывали толицу тучъ»...

гда хотел подняться на ноги, то вдруг почувствовал, что подо мной нет палубы судна.

Да, это было так... Обломок мачты, на которой я лежал, запутавшись в ее расщепленном конце тяжелыми складками намокшего плаща, — вот все, что оставалось от корабля и экипажа. Быть может, финикияне спаслись, считая меня единственной жертвой моря, но я не мог поверить этому, следя глазами за жалкими обломками судна, которые со всех сторон виднелись на волнах, как язвы, безобразящие божественное тело смирившегося исполнина.

Один час медленно тянулся за другим, солнце уже близилось к зениту, но, сколько ни напрягал я глаз, а ничего не мог заметить на той черте, где море земных вод сливалось воедино с таким же голубым и необъятным небесным морем. Только на западе, над самыми волнами, вздымалась легкая гряда молочного тумана, и по направлению к ней меня влекло какое-то невидимое течение.

Не знаю, сколько времени прошло, но вот в небесной синеве я ясно различил белеющие крылья каких-то птиц, а вскоре и их пронзительные голоса, которые мне показались сладчайшей музыкой земли.

Почти угасшая надежда опять во мне проснулась. Я приподнялся над скользким от воды бревном и снова посмотрел на запад. Крылатые предвестники земли меня не обманули, — то, что я принял за клубящийся туман, на самом деле было берегом, покрытым такой пышной зеленью, подобие которой я не встречал нигде в давно покинутых восточных странах.

Огромная река сливала здесь свои желтеющие воды с лазурными волнами моря, и в месте, где еще нельзя было определить, за кем останется победа, с немолкнувшими криками носились вереницы птиц. По временам одни из них, как камень с кровли храма, стремглав бросались вниз, а вновь поднявшись, уже держали в клюве и когтях трепещущих и брызгающих водой рыб...

Цветы неведомых растений, обрывки водорослей и лиан все чаще и чаще попадались мне...

Еще немного, и я с безумным, диким криком радости заметил, что безгранична гладь моря осталась позади, а я плыву уже у берега спокойной и медленной реки. Какой-то шест, не шевелясь, держался на воде; я подхватил его и, упираясь в илистое дно, стал направлять мою тяжелую и скользкую ладью вдоль берегов.

Головы безобразных крокодилов по временам показывались над поверхностью реки, но я, родившийся на нильских берегах, не мог страшиться их и только лишь старался, чтобы шест мой производил возможно больше шума, пугая им трусивых тварей... Но вот затих звук отдаленного прибоя, река немного сузилась и стала чище, лес из роскошных, но неизвестных мне дерев совсем приблизился к воде, как стены жидких изумрудов вдоль улицы из светлого стекла...

Птицы, сверкая на солнце многоцветной окраской своих перьев, перелетали с одной группы деревьев на другую; крохотные обезьянки перекликались в непроницаемой листве вершин, какое-то животное, похожее на полосатых тигров из стран далекой Индии, но только меньше и покрытое пятнами вместо полос, мелькнуло в густом кустарнике у берега и тотчас скрылось в густой чаще.

Ни по соседству со священной страной Кеми, ни на зеленых островах погибшей Атлантиды не приходилось мне встречать такой роскошной зелени и ярких красок. Здесь все было особенно, не так, как в странах, который я посетил, и мне казалось, что если это тоже остров, то остров огромнейший из существующих во всей вселенной... А если нет, то горе мне, — ибо, плывя на запад, я подошел к Индии с востока, и долгий путь мой ничего не прибавит к славе Господа Христа.

Но мысли мои путались, все тело ныло и болело от усталости, и я, приблизившись к берегу, ступил на землю и навсегда покинул обломок мачты финикийского судна, последнее, что соединяло меня с родиной, с гробницами усопших предков.

Обессиленный, опустился я на густую и мягкую траву, закрыл глаза, и тотчас же глубокий сон завладел всем существом моим.

Свиток четвертый

Первое, что я почувствовал, проснувшись, была легкая качка корабля, и, только окончательно прия в себя, я вспомнил и гибельную бурю, и мой опасный путь по неизвестной мне реке... Но качка продолжалась, и, чтобы понять ее причину, я приподнялся на колеблющейся подо мной циновке и, ощупью раздвинув тяжелый полог, пропнул голову наружу.

Сначала глаза мои не в силах были ничего увидеть, ослепленные потоком солнечного света, но через несколько мгновений я все увидел и понял все. То, что мне показалось качкой судна, было покачиванием сплетенных из лиан носилок, которые держались на плечах у четырех людей, по цвету кожи более близких к финикиянам, чем к эфиопам из южных африканских стран.

Одежды их из белой ткани напоминали мне одеяния нильских рыбаков; но впереди моих носилок виднелись еще несколько других, и в глубине их возлежали фигуры, должно быть, знатных воинов и старцев, одетые в роскошные хитоны и плащи из многоцветных перьев птиц; на головах у них сверкали шлемы из кованого золота, как это я узнал потом.

Какой-то из носильщиков заметил, что я уже не сплю, и тотчас же издал короткий крик на непонятном языке, и вслед за тем все шествие остановилось. Сидевшие в других носилках покинули свои места, и я теперь увидел, что все они были высоки ростом, красиво сложены, обладали гордым взглядом и жестами людей, которые привыкли повелевать и сознавали свою силу.

Старший из них приблизился ко мне и начал предлагать мне вопросы на мелодичном языке, который не похо-

дил ни на один из языков восточных стран, и я не мог понять его. Тогда он замолчал и, вынув из ножен меч, сверкающий — не полированной сталью, а с лезвием из зеленоватого прозрачного стекла, стал им чертить на глинистой дороге изображение лодки, пешехода и небольшого корабля.

Тогда я понял, что он хочет узнать, каким путем проник я в их страну, и указал ему на нарисованный корабль. Он что-то произнес, и близстоящий воин поспешил извлечь из-под хитона меч и подал его мне. Покинув носилки, я стал перед величественным старцем и начал с ним наш долгий безмолвный разговор. Носильщики и воины столпились вокруг нас, с любопытством разглядывая чертежи, особенно же те из них, которыми я отвечал на предлагаемые мне вопросы.

Из разговора этого я понял, что нахожусь теперь в могущественной и большой стране и что теперь меня несут в ближайший город, которым правит величественный старец, но сам он тоже подчинен какому-то другому человеку, который был изображен им сидящим на высоком троне с венцом на голове.

О том, что ждет меня, он ничего мне не сказал, и скоро мы все направились в дальнейший путь.

Лесов вокруг уж не было; луга и нивы с желтеющим маисом покрыли всю долину, пересекаемую небольшой рекой. Широкая и гладкая дорога, подобная дорогам страны Кеми, тем дорогам, которые были сооружены для передвижения по ним целых дворцов и храмов, перерезая овраги и невысокие холмы, ничем не прерывалась и исчезала вдалеке, где тусклым облаком вздымался неведомый мне город.

Перед закатом мы прибыли в него.

Огромные дома из тесаного камня по архитектуре своей похожи были на здания в городах египетских и ассирийских: над ними мрачно высились две каменные пирамиды, которые, как я узнал потом, были не местом погребения усопших граждан, а храмами богов страны Анахуака. Семья правителя радушно приняла меня в своем жилище, и

я был поражен, заметив, что золота в нем больше, чем дерева и глины.

Мне нравилась жена величественного старца и дочь его, красавица Айрани, и я был рад потом, когда узнал, что мне еще не скоро придется оставить их гостеприимный кров, чтобы отправиться в Теноктитлан, где будет ждать меня правитель всей страны. Теперь туда отправлен был гонец с известием, что человек неведомого племени пришел из глубины морей, и до возвращение его я мог спокойно жить в этом прекрасном городе Анахуака.

Айрани любила юношу, которого звали Гаридалонк, но он был добр и не мешал своей невесте обучать меня их языку, и потому я вскоре мог расспросить ее и разузнать о многом.

Страна эта была прекрасна, и жители ее кротки, как дети, но боги, правившие ею, — кровожадны и жестоки. Император, как и простой рыбак, боялся и трепетал жрецов, власть которых была во многом сильнее его власти, хотя он и мог одним лишь словом отправить их на смерть... И, слыша это, я благословлял судьбу, приведшую меня в страну Анахуака, ибо казалось мне, что жители ее поймут и отзовутся на божественное учение Христа.

Немного дней прошло с тех пор, как прибыл я сюда, а мне пришлось уже увидеть, чем жрецы держат в повиновении народ.

На маленькой площадке, расположенной на вершине одной из пирамид, собралась однажды целая толпа людей в одеждах, испещренных каббалистическими знаками. Они расположились посреди нее между двумя башнями из деревянных бревен, где были храмы Хюитцля, бога войны, и Кветцаля, бога воздуха, изображения которых видны были народу в распахнутые двери храмов. Перед безобразными изваяниями божеств стояли маленькие жертвенники, и на них в блестящих золотых сосудах лежали сердца несчастных, принесенных в жертву им.

В центре площадки возвышалась глыба мрамора, и пять жрецов держали теперь на ней нагого юношу, а сам верховный жрец стоял над ним с занесенным ножом из того

же зеленоватого стекла. Затем этот нож одним ударом вонзился в грудь трепещущего человека, разворотил ее, толпа рас простерлась лиц перед подножьем пирамиды и оставалась так, пока сочащееся кровью сердце не было опущено на золотое блюдо у изваяния Кветцаля...

— И ведь никто, никто, кроме жрецов, не знает, какой несчастный будет лежать на этом камне завтра... — шепнула мне Айрани, когда безжизненное тело жертвы тяжело упало вниз.

«Значит, и мне придется, может быть, погибнуть здесь, — подумал я, — не выполнив цели, ради которой покинул я Александрию, и не обратив ко Христу ни одной человеческой души».

Но девушка точно прочла эти слова в моих глазах и тихо мне ответила:

— Ты не погибнешь, чужеземец... Смерть ждет тебя не здесь и не сейчас.

— Почему ты мне это говоришь, Айрани? Разве тебе известны тайные помыслы жрецов или ты знаешь средство спасти меня от них?

— Нет, чужеземец, но я и все мы знаем, что ты умрешь по истечении года и тех немногих дней, которые пройдут до той поры, пока ты явишься с посланниками императора в Теноктитлан. Гаридалонк сказал мне, что ты добр, и потому я открою тебе тайну, узнав которую, ты, может быть, еще спасешься. Так знай же, гость неведомых земель, что у нас, в стране Анахуака, есть священный обычай, по которому ежегодно избирается один из молодых невольников; невольник этот должен быть знатен родом, красив и не иметь на теле ни одного пятна, ни шрама... И тело его, как говорят жрецы, служит тогда для воплощения в нем бога Тецката, творца всей видимой вселенной...

Айрани грустно взглянула на меня и, тяжело вздохнув, продолжала:

— В течение года избранник будет богом и воля его — закон для всех. Все радости земли будут даны ему, но только не радость брака. Когда же год пройдет, Тецкат получит в жены четырех самых прекрасных девушек во всей стране

Анахуака, и вместе с ними он будет месяц пировать в домах знатнейших жителей Теноктитлана. Когда приблизится последний день, его и жен посадят в царскую ладью и повезут по озеру на место, которое зовут «Плавильней металлов», оттуда же на Теокалли — Храм оружия, где жены попрощаются с своим владыкой, а сам он будет принесен в жертву тому же богу, который в нем воплощался до сих пор... В Теноктитлане сегодня приносят в жертву последнее воплощение божества; сегодня же прибыл туда гонец моего отца с известием, что у него живет теперь непримечательный пришелец, красивый, как полубог, который может стать на год властителем страны Анахуака... Пришелец этот — ты...

Айрани умолкла и отвернулась от меня.

Теперь я знал свою судьбу... Сначала холодный ужас обнял меня при мысли о гибели на камне под ножом кровожадного жреца, но вслед за тем, как блеск полночной молнии, в сознании моем мелькнула мысль, наполнившая мне душу трепетом радости и счастья...

«Воля его — закон для всех» — звучали в моих ушах слова красавицы Айрани.

Свиток пятый

Но вот давно ожидаемый день наступил. Гонец, посланный правителем города в Теноктитлан, возвратился обратно... И он уже был не один... С ним вместе прибыли из далекой столицы Анахуака: целый отряд императорских воинов и какой-то величавый старик, перед которым пал ниц не только мой добрый хозяин, но и надменные служители храмов Кветцаля и Хюйтцля, кровожадных божеств.

— Это верховный жрец! — прошептала Айрани, проходя мимо меня, когда неизвестный мне старец приказал, чтобы я с ним остался, а остальные все вышли из переднего зала.

Повеление его исполнено было тотчас же, и мы остались вдвоем.

Он долго и пристально смотрел мне прямо в глаза, точно хотел проникнуть в глубину моих мыслей, и взгляд этот был остр, как наконечник копья, и, не будучи в силах бороться с его подавляющей властью, я потупил мой взор.

Эта минутная слабость спасла мою жизнь: старый жрец был ею доволен, и это на мгновенье, но ясно отразилось на его бесстрастном лице.

— Слушай меня, чужеземец, — произнес он спокойно, но голосом резким, как скрип железа по камню. — Я не знаю, из какой страны ты явился сюда и каким богам воссылаешь моления, но священный обычай этого народа требует, чтобы каждый год какой-либо пленник из чуждого племени провозглашался богом Тецкатом, соблаговолившим воплотиться в человеческом теле. Я явился сюда, чтобы решить, можешь ли ты стать воплощением божества на это недолгое время или должен быть принесен ему в жертву теперь же. В глазах твоих прочел я ответ, и если воля твоя всегда будет так же склоняться перед моей волей, как потупился пред моим взглядом твой взгляд, то ты, чужеземец, будешь провозглашен богом Тецкатом... Но помни: во всем повинование мне, а иначе... месть моя беспощадна, и само божество от нее не спасется...

Я молчал, не зная, что мне ответить этому старцу, который говорил теперь тихо и злобно, а он, замолчав и еще раз взглянув мне прямо в глаза, произнес, точно читая слова благоговейной молитвы:

— Да будет!.. — И тотчас же громко воскликнул: — Сюда, братья и дети священной страны Анахуака... Сюда!

И как только в широко раскрытые двери хлынула толпа граждан и воинов, старый жрец воздел руки к небу и склонился ниц предо мной.

— Хвала тебе, о Тецкат всемогущий, — молитвенно воскликнул он. — Хвала, создатель вселенной, соблаговоливший вернуться к своим верным рабам, чтобы принять их моления и жертвы...

— Хвала! — повторили все бывшие в зале и распростерлись на каменных плитах.

Так я, александриец Зенон, стал богом Тецкатом, недолгим владыкой роскошной страны Анахуака...

Через несколько дней, на роскошных носилках, окруженный стражей из воинов Теноктитлана, я уже покидал прибрежный город, приютивший меня, и направлялся к столице, где должны были пройти тринацать последних месяцев земной моей жизни, закончившихся смертью на жертвенном камне перед изображением того божества, которое теперь воплощалось во мне.

Но я не думал о смерти: слова доброй и кроткой Айраны, что моя воля в течение этого года будет законом для всех, которому не сможет противиться ни сам император, ни этот хитрый и безжалостный жрец, — слова эти, как боевой клич, все время проникали в мой слух и заставляли сердце мое трепетать от радостной и сладкой надежды.

Я полулежал в глубине моих пышных носилок и в то же время обдумывал план того, как я, благодаря беспредельности полученной мной власти, открыто буду проповедовать учение распятого Христа, рассею славу измышленных богов и на нетронутой земле страны Анахуака воздвигну церковь Господу в сердцах прибегнувших к Нему. Пусть я потом умру, пускай жрецы казнят меня, как и того несчастного на пирамиде с храмами безжалостных богов, но уже проповедь Спасителя будет известна здесь, и семя, зароненное ею, даст некогда свой пышный плод...

Верховный жрец, как мне казалось, не доверял себе, — он часто покидал свои носилки и, подойдя ко мне, почтильно со мной говорил, но острый взгляд его пытливо был устремлен в мои глаза и точно в них искал ответа на зарождавшееся в нем сомнение. Но я ничем не выдавал своих сокрытых мыслей, и хитрый старец вступил в Теноктитлан вполне уверенный, что он привез сюда с собой покорное орудие всех своих замыслов и всех желаний...

На утренней заре, когда лучи восхода едва только упали на гору Икстак, похожую на женщину в белых одеждах на темном ложе, мы начали свой спуск в долину Тенокти-

тлана. В глуби ее, точно гигантские куски прозрачного стекла, сверкала гладь озер Тецкуко, Чалько и Кочикалько, а между них, как будто плавая по лону вод, виднелся огромный и сказочно красивый город.

Еще не подойдя к нему, мы миновали целые селения, построенный на сваях, сады на свободно плавающих плотах и, наконец, вступили в предместье Теноктитлана, где попадалось много зданий, построенных из глины и простого камня, но в самом городе они исчезли без следа и потянулись улицы, где все дома были воздвигнуты из колоссальных красных плит и окружены тенистыми садами. От улиц и других домов они отделены были глубокими каналами...

Детство и юность мои прошли среди садов Александрии, которая не так еще давно звалась царицей Востока; я видел вечный Рим, но все ж Теноктитлан, храмы его, дворцы и пирамиды были роскошнее всего, что видели мои глаза и запечатлела память. Я много мог бы написать о нем в поучение грядущим поколениям, но прибыл я в страну Анахуака не за тем и остающийся пергамент нужен для описания иных событий...

Народ жаждал увидеть вновь воплотившегося бога, и потому верховный жрец в тот самый день, когда мы прибыли в Теноктитлан, провел меня в блестящий, сверкающий камнями и драгоценными металлами дворец правителя страны. Он поднялся передо мной с трона, спустился вниз и распростерся на мозаичном полированном полу. И я поклонился в душе несчастного правителя, который каждый год должен так преклоняться перед каким-либо рабом...

Но я недолго пробыл во дворце и скоро удалился в громадный главный храм, где были приготовлены покой для меня и помещение для ста моих телохранителей. Здесь старый жрец меня оставил, чтобы я мог подкрепиться сном и завтра бодрым предстать перед народом... И я остался наедине с своими мыслями, но сон не приходил ко мне. С молитвой на устах я ждал утра, когда притворство придется мне оставить и начнется открытая борьба со всемогущими жрецами...

И этот день настал.

Предшествуемый торжественными звуками священных гимнов, которые пелись хором жрецов, окруженный стройными рядами воинов, я вступил в переполненный народом храм. Как нива колоссящейся пшеницы склоняется перед порывом ветра, так многотысячная толпа людей склонилась передо мной, а вслед за тем восторженные клики, казалось, поколебали своды храма и громовыми раскатами упали вниз.

Шесть или семь пар невольников стояли обнаженные у камня жертв, и только они одни со страхом и ужасом взирали на меня. Стеклянный нож сверкал в руке у высокого жреца, и золотое блюдо ждало трепещущих сердец.

Тогда я поднял руку и в первый раз заговорил:

— Дети мои, народ Анахуака, — сказал я и сам удивился твердости, с какой звучал мой голос. — Я вновь вернулся к вам и ожидаю вашей жертвы, но первый день свидания не должен омрачаться кровью, день возрождения не должен стать днем смерти для других. Я жду от вас сегодня цветов и благовоний; покройте этот камень благоухающими лепестками, — и тогда жизнь вашей страны будет так же спокойна и прекрасна; пусть никогда не увядают цветы на этом камне и пусть никогда кровь не прольется на него; освободите несчастных приговоренных и поспешите принести свою благоухающую жертву... Такова воля Бога, так хочет Бог!..

Несколько мгновений длилось замешательство, но вслед за тем народ с криками радости покрыл весь жертвенный камень таким количеством цветов в гирляндах и венках, что он совсем исчез под ними, а благоухающий цветочный холм все продолжал расти, переливаясь нежными красками на солнечных лучах.

— Так хочет бог! — покорно повторил и хор жрецов, но в голосах их слышалась угроза, а во взгляде верховного жреца она пылала, как бешеная страсть.

Борьба между Христом и Князем Мрака, владевшим этой прекрасной страной, началась...

И победил Христос...

Свиток шестой

На следующий же день, еще перед рассветом, верховный жрец и остальные все жрецы пытались увидать меня, но стража из этих странных воинов, которые каждый год меняли господина и одинаково верно служили всем, не пропустила их. Когда же я проснулся и узнал об этом, то повелел своим телохранителям и впредь не допускать их до меня, так как решил не притворяться и вести открытую борьбу против безжалостных тиранов страны Анахуака.

Народ по-прежнему считал меня воплотившимся Тецкатом, и я не разрушал его уверенности в этом, ибо тогда мои слова пропали бы бесплодно и все бы слушались жрецов, перед которыми давно привыкли преклоняться и гнев которых был ужаснее, чем реки пламени с вершины Попо.

Все концы империи были разосланы гонцы с известием, что милосердный бог Тецкат не принимает больше жертв в виде трепещущих людских сердец, и только благоухание цветов и аромат курений угодны воплотившемуся богу... В немногих городах жрецы, не веря посланным или надеясь, что Теноктитлан слишком от них далек, пытались продолжать убийства беззащитных жертв на алтарях своих богов, но граждане, мечтавшие избавиться от ненавистного им ига, всей массой брались за оружие, и малочисленность жрецов их принуждала соглашаться на жертвоприношение из цветов или же погибать у тех же алтарей, кропя их собственной кровью.

Душа моя скорбела при слухах об ужасах междуусобных битв, но я считал, что Господу не так противна гибель нескольких десятков кровожадных и безжалостных жрецов, чем смерть бесчисленных мужей и отроков на жертвенных камнях... Для освобождения великого народа должны были погинуть его недавние владыки, — так, видимо, решил Творец, и мы могли лишь со смирением исполнить Его волю и уповать, что ужас прошлого не возвратится вновь.

Я делал все, что было в моих силах...

Едва только восток начинал аleteь огнями скорого восхода, как я уже спешил под своды сумрачного храма, куда со всех сторон стекались граждане Теноктитлана, чтобы послушать мои слова о Том, Кем был я послан в эту далекую страну. И, подкрепив себя молитвой перед священным изображением креста, я начинал им горестную повесть о жизненном пути Спасителя людей и передавал им истины божественных заветов, и радостью преисполнялось мое сердце, когда я замечал огонь глубокой мысли в очах мужей и слезы у их жен.

Жестокие зрелища исчезли без следа в стране Анахуака, кровь не лилась на жертвенники алтарей, но все же кроткое учение не проникало глубоко в ожесточенные сердца людей, привыкших к мучениям и смерти, и скоро с горечью я должен был увидеть, что истинных христиан Теноктитлан еще не может дать. Все эти люди благоговели предо мной и были благодарны мне за избавление от ужасов былых богослужений, но вместе с тем они меня боялись, а через год, когда я должен буду умереть, они опять смирятся перед жрецами и новым воплощением Тецката, который наверное уж будет послушным орудием в руках моих врагов.

Я сам так думал и видел ту же мысль в горящих ненавистью взглядах верховного жреца...

Но небом суждено было иное, и предопределеннное свершилось...

Однажды я, утомленный жарким днем и долгой проповедью в храме, сидел в своих покоях, когда начальник моей стражи, звяня оружием, вошел и произнес:

— О, господин, неведомая женщина из областей приморских пришла сюда и хочет тебя видеть; у нее нет с собой ножа, нет и сосудов со смертоносной влагой; она прекрасна и молода и кажется ребенком...

Я не мог догадаться, кто эта женщина, но сердце подсказало мне, что ее следует принять.

— Пускай войдет, — сказал я воину, и он, склонясь предо мной до каменного пола, поспешно поднялся и вышел.

Вторично зашевелился роскошный пурпуровый полог над дверью в этот зал, и я увидел в ней прекрасное лицо красавицы Айрани. Она почти неуловимо, но пристально взглянула на меня, затем сделала несколько шагов вперед и вдруг упала передо мною на колени...

— Зачем, зачем ты это делаешь, сестра моя? — воскликнул я, спеша ее поднять. — Ведь только Бог достоин поклонения и Ему одному оно принадлежит, а я не более, как жалкий странник, которого ты первая согрела участием и лаской.

— Я это знаю, чужестранец, — ответила она, — пусть для других ты — воплотившийся Тецкат, но для меня всегда останешься лишь другом, и склонила я перед тобой колени потому, что ты своими кроткими словами пробудил во мне что-то, чего назвать я не умею, но что дает моей душе спокойствие и мир... Я полюбила великого Страдальца, и образ Его живет в моей душе, и я хотела бы, чтобы вся жизнь моя была служением Ему, любвеобильному и благостному Богу...

— Вся жизнь! — воскликнул я, почти не веря тому, что вдруг услышал. — А как же твой жених Гаридалонк?.. Подумала ли ты, Айрани? Ты веришь в Господа, но Он не запрещает ведь земной любви, и ты можешь служить Ему, не отрекаясь от радостей супружества и материнства...

— Нет, брате мой, нет... Мне жаль его, он долго будет мучиться, но это горе пройдет когда-нибудь, а я не в силах служить Спасителю и человеку, любить Христа и мужа... Не отговаривай меня, — я не вернусь назад...

Я посмотрел в ее прекрасные и светлые глаза, но тотчас же потупился, точно взглянув на утреннее солнце.

— Да будет! — произнес я тихо и осенил крестом голову коленопреклоненной девушки.

Так было в день, когда красавица Айрани назвала себя невестой Господа и навсегда отреклась от недолговечного земного счастья...

Но она была прекрасна, и земная красота ее влекла к себе людей, как чашечка цветка — пчелу, и люди не в силах были отказаться от нее. Я знал, что только долгая борь-

ба ей сможет дать свободу, но я не думал, что борьба эта начнется так неожиданно и скоро...

В один из дней, грядущих вслед за этим, когда, накинув свой плащ из многоцветных перьев, я подходил к вратам, ведущим в храм, ко мне приблизился какой-то человек и, опустив на землю убитого оленя, рукой коснулся до земли и громко произнес:

— Хвала тебе, о воплотившийся Тецкат, — ты исцелил сестру мою после молитвы матери, и я, охотник восточных областей, дерзаю принести тебе свой дар...

Но только я, кивнув головой, дал знак, что жертва его принята, как он, понизив голос, чуть слышно прошептал:

— Отошли стражу, чужеземец, и выслушай меня. Имя мое Гаридалонк, но ты уже успел забыть меня...

И я, действительно, узнал в нем жениха Аирани.

Телохранители безмолвно отступили на несколько шагов назад.

— Отдай ее мне, чужеземец, — проговорил тогда охотник, приблизившись ко мне. — Зачем она тебе, — ты через год умрешь на том же камне, куда теперь, по твоему желанию, кладут цветы, а пред Аирани и передо мной еще раскинут долгий путь... Мы будем счастливы... Не разрушай же нашей жизни своим губительным веленьем; пусть девушка уйдет из шумного Теноктитлана и возвратится в родной дом, на берега наших спокойных рек и в шелестящие леса...

— Мне жаль тебя, Гаридалонк, — ответил я взволнованному юноше, — но моя власть не простирается на то, о чем ты просишь. Верховной Воле, перед Которой и ты, и я — ничто, угодно было возжечь в душе Аирани священный огонь подвига и отречения от счаствия с тобой, которого она так любит, ради служения Ему и облегчения страданий всех обитающих в стране Анахуака. И я бессилен перед Ним.

Глаза охотника блеснули, и он гордо выпрямился во весь рост.

— Ты отказался, чужеземец, — воскликнул он. — Но бегрись! Ты бог в Теноктитлане и перед тобой трепещут все, но для меня ты только раб, и я немало знаю юношей в

стране Востока, которые с оружием в руках пойдут за мной, чтобы низвергнуть ложного Тецката и освободить красавицу Айрани силой, если она уж околдована тобой.

Первый же гневный жест несчастного заставил стражу броситься к нему, и он теперь стоял в сплошном кругу вооруженных воинов, которые ждали лишь знака, чтобы поднять его на острия своих тяжелых копий... Мне было жаль его, — я знал, что, несмотря на ненависть жрецов, безумная попытка юноши его погубит, но я ничем не мог помочь ему и, отвернувшись, с тоской произнес:

— Иди...

И он ушел.

Свиток седьмой

Незаметными шагами время шло в вечность, и срок, когда я должен буду покинуть страну и народ Анахуака, неуклонно приближался ко мне. Все, что преподал мне любимый ученик Распятого Бога, повторил я в главном храме Теноктитлана, и вина не моя, если немногие только решились открыто пойти вслед за Ним, ибо все знали, что недолг срок моей власти и что жрецы, завладев алтарями богов, опять обагрят их человеческой кровью, и первыми погибнут на них те, кто стал близок ко мне и чьи души воспринимали глаголы мои.

И, раздумывая над этим в долгие часы бессонных ночей, решил я, что следует мне побывать и в других городах, где меньше жрецов и где, благодаря дальности Теноктилана, не так беспредельна их власть. Там было бы больше надежды на то, что граждане не устршаются их мщения и зерна учения Агнца, упав в благоприятную почву, дадут всходы, которых не срежет острия сталь раньше, чем колос нальется и созреет для жатвы.

Скоро приблизится час моего обречения с четырьмя девами Теноктилана, и тогда до рокового мгновения должен я буду оставаться в городских стенах, но до тех пор моя во-

ля — закон, и противиться ему никто не решится.

И, думая так, я объявил начальнику стражи, что воплотившемуся богу Тецкату угодно посетить, кроме столицы, и иные области страны Анахуака, чтобы обитатели их могли поклониться божеству, которое вскоре собирается покинуть их землю и возвратиться обратно в равнину вечного солнца, расположенные по ту сторону мрачных врат смерти.

Верховный жрец, вероятно, понял, чем руководился я в этом желании, но сопротивление его оказалось бессильным, и скоро я, окруженный своей дворцовой стражей, покинул Теноктитлан. Путь совершил я снова в носилках, ибо ни одной лошади нет в этой стране, и жителям ее неизвестен даже и вид вернейшего из четвероногих друзей человека.

Но ясные и жаркие дни, которые теперь наступили, делали наш путь настолько легким, что я, едва только стены столицы скрылись за зеленоющими вершинами холмов и расцветающих рощ, покинул носилки и пошел рядом с начальником стражи. Воинам этим, из которых многие видели десятки Тецкатов, я совсем не казался священным, и они спокойно отнеслись к моему путешествию по образу обыкновенных людей.

Другие носилки, предназначенные для заболевших в дороге, оставались тоже пустыми и только в третьих была Айрана, которая не захотела оставаться одна в моих опустевших покоях и вызвала сопровождать нас в странствиях по горам Анахуака. Я с неохотой согласился на это, но ей суждено было вскоре спасти мою жизнь и дать мне возможность проповедовать слово Распятого еще несколько месяцев, пока не приблизится неизбежный конец, с которым бороться она не была в силах.

Произошло это так: однажды, когда я наклонился, срывая неизвестный мне, но небывало прекрасный цветок, из густой темно-зеленой травы, окружавшей его, мгновенно поднялась золотистая змейка и вонзила свои острые зубы мне в руку. Боль была ничтожной, но от неожиданности я все же воскликнул, и начальник стражи тотчас же обернулся ко мне. Но едва только он заметил на руке моей ран-

ку, как лицо его стало пепельно-серым от страха, и он заслонал, точно укушен был сам, а не я.

— Повелитель, — воскликнул он, — боюсь, что произошло несчастье, которого поправить нельзя, — укус этого гада смертелен, и только жители восточных городов умеют бороться со смертью от яда золотистой змеи. Но далек туда путь, а без помощи их ты еще до заката расстанешься с жизнью...

Старый воин говорил правду, ибо странная слабость уже начала распространяться по телу у меня, но тут вспомнил я об Айрани...

— Позови ко мне девушку, — она из восточной страны и, быть может, спасет мою жизнь...

Но она была уж здесь и, посмотрев на ранку, тотчас же приказала уложить меня на носилки и поспешно нести в неизвестный мне город, стены которого виднелись на вершине высокой и бесплодной горы.

Я вполне ясно видел каменистые скаты, по которым подымалась моя молчаливая стража; слышал звон оружия при ударах о камни; заметил обломок скалы, висящий, как естественный мост, над глубочайшей бездной, где с криками роились неисчислимые стаи птиц, но это было последним, что я увидел, и сознание жизни отошло от меня...

Когда же чувства возвратились ко мне, и глаза мои открылись в одно время с тем, как проснулась моя мысль, — я опять был в каком-то неизвестном мне храме и видел перед собой в высоте его свод, украшенный скульптурными изображениями чудовищных змей.

— Хвала Иисусу! — услышал я радостный голос Айрани, когда хотел приподняться, но, обессиленный, снова опустился на свое низкое ложе. — Ты ожил, брат мой, и теперь скоро будешь совершенно здоров... Не спрашивай, молчи, — я сама скажу тебе все. Ты в своем храме, храме Тецката, и тебя охраняет твоя прежняя стража, а через три дня и обитатели города стекутся сюда, чтобы услышать твои слова о Распятом. Теперь же молчи, успокойся и спи...

И я, повинуясь ее тихим словам, погрузился в глубокий сон без видений, а когда снова проснулся, то ясно ощутил,

что силы мои начинают ко мне возвращаться и кровь быстрее проходит по жилам. Через день я чувствовал себя совершенно здоровым, и только слабость не позволяла мне подняться с легкой переносной постели, на которой я все это время лежал...

Тогда и случилось событие, благодаря которому я узнал всю высоту и благородство души прекрасной и кроткой Айрани.

Я лежал и рассказывал ей о последних мучениях Господа, когда какой-то необычный шум раздался у подножия лестницы, ведущей к преддверию храма, и заставил девушку на несколько мгновений покинуть меня.

Скоро она возвратилась и, ни слова не говоря мне, схватила за невысокую спинку постели, напрягла все свои силы, что я ясно видел по лицу, склонившемуся теперь надо мной, и быстро потащила ее по мозаичному полу в широко раскрытые двери. Яркий солнечный свет ослепил меня на минуту, но как только глаза освоились с ним, то я сразу заметил причину показавшегося мне странными поступка.

У подножия лестницы, упирающейся в массивные ворота внешних стен храма, которые теперь были заперты изнутри, образовался какой-то темный провал, и из глубины его выходили вооруженные люди, сверкая синеватым стеклом своих копий и тяжелых мечей. Впереди всех виднелся Гаридалонк, и пылающий ненавистью взгляд его был устремлен на меня.

С внешней стороны на ворота сыпался град тяжелых ударов, — это моя верная стража рвалась на помощь ко мне, но усилия ее были напрасны, а гибель моя неизбежна. Жрецы, вероятно, узнали о том, что случилось со мной, и, воспользовавшись ослеплением несчастного Гаридалонка, открыли ему тайный ход через подземелья храма, и он проник чрез него со своими друзьями, чтобы умертвить ненавистного ему бога Тецката...

Мгновение — и людская лавина быстро понеслась по мраморным ступеням наверх.

Я сделал попытку приподняться, чтобы умереть, как мужчина, но тут раздался громкий и решительный голос Айрани.

— Стойте! — воскликнула она, и я, взглянув на нее, не узнал в этой гордой и царственной женщине прежнего полуребенка. — Остановись, Гаридалонк! Безумец, ты, любя меня, хочешь умертвить человека, который открыл мне путь к бессмертию неба, но знай, что еще один шаг — и этот нож пронзит мое сердце раньше, чем ваши мечи коснутся груди чужеземца...

Она стояла, прекрасная, как изваяние Изиды в Александрийском храме, перед которым я никогда нессыпал моление за народ страны Кеми, а внизу глухо роптала толпа дикарей, колеблясь и не решаясь... Была минута, когда, казалось, Гаридалонк хотел ринуться на меня, но она подняла свой нож, и тогда меч его со звоном упал на каменные плиты, а он, воздев руки вверх, в бессильной ярости стал проклинать меня...

Товарищи его, опустив ненужные им копья, призывали проклятие на голову Айрани, а та стояла гордая, прекрасная, безмолвная, как божество...

Огромные ворота уже начали дрожать под непрерывными ударами извне. Серебряные плиты, оковывавшие их, с зловещим скрипом отделялись от досок, и вот в образовавшийся просвет просунулось копье...

Каждое мгновение могло стать роковым. Гаридалонк заскрежетал зубами и бросился назад, и темное отверстие прохода тотчас же поглотило всех.

Я снова был спасен, но уж в последний раз.

Свиток восьмой

Я возвратился в Теноктитлан на исходе двенадцатого месяца воплощение во мне бога Тецката, и близилось время, когда я должен был избрать себе четырех жен из девушек страны Анахуака. Но я слишком во многом отступил

от священных обычаев этой страны, чтобы бояться неисполнением чего-либо навлечь на себя еще большую ярость жрецов, и потому я решил, что откажусь от выбора жен и не приму тех, которых выберут сами жрецы.

Тридцать недолгих дней, которые должны были пропасть до моего переселения в иной и лучший мир, я думал провести за подготовлением себя к отходу туда, откуда нет возврата, но небом суждено было, чтобы намерения мои рассеялись, как дым, и неожиданная радость скрасила закат моей печальной жизни.

В один из дней, тосклиwyй и бесцветный, когда я сумрачный сидел в своем уединении, вошла ко мне прекрасная Айрани и, беззвучно опустившись у моих ног, задумчиво произнесла:

— Послушай, брат, — ты говоришь, что безбоязненно готовишься вернуться к Богу, ради Которого ты прибыл к нам, и должен вскоре умереть, и верь, что я со сладкой надеждой на нашу встречу в лучшем мире, который открыт тобой для меня, буду приветствовать свой час, но ты подумал ли о том, что станет с проповедью Вечной Истины, если погибнешь ты, не оставив после себя учеников?

— Нет, милая Айрани, — ответил я. — Я думал, много думал, но где же люди, которые решатся взять на себя крест мой? Жрецы, залившие кровавыми потоками всю эту несчастную страну, внушают к себе такой священный трепет, что после моей смерти никто здесь не осмелится даже произнести имени Христа.

— Ты прав, брат мой, но я об этом тоже думала и, кажется, нашла исход. Известно ли тебе, что женщины страны Анахуака, мужья которых умерли, уже не могут выйти замуж, ибо таков священный наш закон. Ты — воплощение Тецката, но все-таки не божество, и та же участь ждет жен твоих, но те четыре женщины, которых ты назовешь перед людьми своими, уж навсегда останутся недосягаемы для всякой земной власти и против них бессилен император, бессильны и всемогущие жрецы Теноктитлана...

— Я этого не знал, но где, кроме тебя, такие женщины, Айрани?

— Они здесь есть... Из города Холмов, где на тебя напал Гаридалонк, пришло за нами две, еще одна живет в Теноктитлане, четвертой буду я. Ты выберешь всех нас на своем свадебном пиру, и верь, брат мой, мы запомним и свято сохраним твои слова, а когда ты покинешь мир и отойдешь к Небесному Отцу, то мы всю жизнь их будем повторять в стране Анахуака, пока святое знамение креста здесь не узнают все, от моря и до моря...

Не отвечая ничего, я преклонился ниц перед Айрани и край ее одежды поднес к своим устам.

Надежда опять ожила в моей душе, и я мог снова верить, что труд мой не напрасен и не исчезнет без следа с лица земли...

И когда в день, установленный законом, начальник стражи, войдя ко мне, сказал, что император и жрецы ждут воплощенного Тецката на брачный пир, то я, спокойный и счастливый, последовал за ним и прибыл во дворец, весь залитый огнями и, точно облаком, окутанный благоуханием курений.

Император спустился со своего златокованного трона, и его место занял я, а знатнейшие мужи Теноктитлана, собравшиеся здесь, все распростерлись на земле и поднялись только тогда, как я сказал слова обычного привета. Затем, при звуках тихой музыки, из глубины дворца, как бесконечная гирлянда роз, потянулась сплошная вереница прекраснейших из девушек страны Анахуака.

Шелестя своими одеяниями, проходили они передо мной, а я внимательно следил за всеми, чтобы по признакам, установленным с Айрани, узнать в толпе тех трех, которые неведомо мне стали помощницами в деле проповеди учения Христова. И, узнав, я указал на них и, точно по волшебству, тогда исчезли все, а эти четыре девушки остались и, опустив глаза, стояли перед подножьем трона.

Верховный жрец в багровоцветных одеяниях, испещренных таинственными знаками, поднял над головой священный жезл и громко произнес:

— О, девушки страны Анахуака, и ты, Тецкат, бог из богов, внемлите гласу моему! Не на долгий срок вы избраны

властителем, чтобы уладить ему последние дни пребывания на земле, но от лица страны молю я вас, любите божество и пребывайте верны ему, дабы он неизменно благосклонен был к народу своему, когда покинет нас и возвратится в области негаснущего солнца. А ты, Тецкат, приими этих прекраснейших из дев, и как полюбишь их, так полюби народ Анахуака, и, благословив их с высот небесного жилища своего, благослови всех женщин наших и все потомство их... Именем всех милостивых богов и богов злобных, венчаю я вас, женщины, Тецкату, творцу вселенной, богу всех благ земных. В жены берет вас бог, который вас сам создал, чтобы символ единения между ним и вами был совершен... Да будет так и да свершится!..

Жрец замолчал, и тогда необозримая толпа знатнейших жителей Теноктитлана, поднявшись с мест и обратив взоры на меня, как один человек, издала вопль:

— Хвала тебе, Тецкат, и слава! Блажен ты здесь, блажен и в странах солнца... И, возвратившись в свою небесную обитель, ты не забудь детей земли, которые тебя любили и отдали все лучшее у них... Хвала тебе и слава, первейший из богов — Тецкат!

И не успели стихнуть громовые раскаты этих слов, как полились ласкающие звуки флейт; зарокотали струны нежных арф, и брачный пир мой начался...

Айрани и три другие девушки сидели рядом со мной, а я глядел на них и думал, поможет ли им Господь свершить тот великий и многотрудный подвиг, на который я отважился так дерзновенно и так бесславно кончил, не дойдя до заветной цели... Сомнение закрадывалось в душу, но ясный взгляд их спокойных глаз опять низводил в нее уверенность и мир.

А вокруг нас раздавались клики веселых собеседников, звуки пиршественных гимнов, и легкие одежды танцовщиц мелькали в душистой дымке фимиама...

Все эти люди веселились, точно они не понимали, что этот пир — мой смертный приговор и что часы моей недолгой жизни уже сосчитаны жрецами, и только он, заклятый враг мой и гонитель, верховный жрец, один он только

не забыл, какое страшное значение таит в себе веселый пир... Его глаза, холодные, как снег с вершины Попо, блестящие, как синеватое стекло его ножа, не отрываясь, глядели на меня, и я уже чувствовал себя привязанным к покрытому цветами камню алтаря.

И в этот миг мысль, внезапная, как блеск зарницы, мелькнула у меня... Я вспомнил вдруг, с какой самонадеянной верой я счел себя достойным стать апостолом Его, впервые лишь узревши лик Страдальца, когда Он уже был пригвожден к голгофскому кресту, и тут понял я, что по недостатку смирения во мне, Христос, любовно взирающий на всех людей, ради спасения души моей, не дал свершившись подвигу, который предпринял я для славы имени Его...

Но если жизнь моя, прошедшая в делах греховных, не могла искупить вины моей, то смертию своей я, может быть, очищу неумирающую душу, и дело, которое я передал Айрани, как жертва, угодная Творцу, расширится и даст плоды в стране Анахуака. Смерть под ножом верховного жреца, почти мгновенная, мне показалась слишком легкой и, обратившись со смиренною молитвою к Нему, чтобы Он, видящий все помыслы людей, принял мой покаянный дар, я поднялся на своем троне и, обратясь к верховному жрецу, сказал:

— Я, как несчастный раб, молю и, как воплотившийся Тецкат, в последний день владычества над вами требую, чтобы в час возвращения моего к Небесному Отцу всех существ, не клалось мое тело на камень жертв и не одним ударом была угашена в нем искра жизни...

Невыразимое смятение овладело жрецами при моих словах, и только один из них ответил глухо:

— Ты хочешь невозможного, Тецкат...

Но я дал знак молчать и продолжал:

— Прошу и требую, воздвигните в верховном храме крест и, когда приблизится мой час, распните меня на том кресте, пригвоздив к нему священными ножами, — и больше будут мучения мои, и дольше будет струиться кровь из тела, а сердце из него вы можете забрать с последним тре-

петом, с последним вздохом, который вылетит из умирающей груди...

И прежде, чем я умолк, верховный жрец воскликнул, точно боясь, что кто-нибудь опередит его:

— Да будет!.. Священна воля великого Тецката, и никто не дерзнет противиться ему...

Я сел, и злобной радостью горящий взгляд моего недавнего врага уж не смутил моей души, хоть я и понимал, что он мне говорил своим безмолвным языком.

Свиток девятый

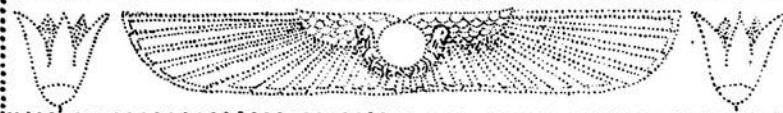
(Заполненный до половины)

Тускнеет огонь моего светильника, не так уже непроницаема ночная мгла, рассвет незримо близится... Последний мой рассвет. Едва только покажутся лучи проснувшегося солнца и, пронизав утренний туман, позолотят вершину Попо и, отражаясь, упадут на кровли храмов и дворцов, как стража, охранявшая меня когда-то и стерегущая теперь, войдет ко мне и поведет в последний земной путь.

Тридцать последних дней прошли и скрылись в вечности, и час настал.

Все это время я провел безвыходно в моем дворце, где долгими беседами о Нем с красавицей Айрани и тремя другими девушками страны Анахуака им преподал те истины, который они должны будут хранить в своей душе, когда мой дух отлетит от распятого тела. Они с благоговением воспринимали глаголы великого Страдальца, и верю я, что образ Господа во всю жизнь не потускнеет в их душе и подкрепит их слабнущие силы в борьбе, которая их ждет.

И в знак воспоминания о том, чему я научал народ Анахуака в последний год моей кончающейся жизни, просил я кроткую Айрани и трех других ее сестер воздвигнуть в этом мрачном и величественном храме священное изваяние креста, и пусть оно для них, а после — для четырех из тех,



«Разсвѣтъ незримо близится... Послѣдній мой разсвѣтъ»...

которые пойдут вовслед за ними, является прибежищем и непрестанным зовом в обители небес. И пусть хранят они свою святыню, оберегая ее от злобы мстительных жрецов, дабы ненарушимым оставался символ Господа Христа, и не забыли бы о нем живущие в стране Анахуака.

А у подножия креста пускай лежат мои пергаментные свитки, пока не сбудется то, что суждено Творцом земли и неба...

Айрани говорила мне, что некогда, в неведомые годы, людей не убивали на жертвенных камнях Теноктитлана, и божества довольствовались жертвами из благоухающих цветов, но во главе жрецов стал человек с непоколебимой волей, решивший умалить власть императора и присвоить ее себе, и вот тогда впервые пролилась кровь его противников на храмовые плиты.

Память об этом сохранилась в священных преданиях жрецов, но от народа завеса тайны скрывает их и, может быть, когда сокрытое станет известно всем обитателям страны Анахуака, то жертвоприношения из человеческих сердец, затихшие в год воплощения во мне Тецката, исчезнут вновь и навсегда...

Но кто откроет скрытое в подземных хранилищах безмолвных храмов, кто принесет огонь познания, как некогда несчастный Прометей?.. Неужто же Айрани, моя любимая и кроткая сестра, своими слабыми руками низвергнет иго, гнетущее страну... Моя душа хотела бы верить, что это будет так, что жертва бескровная будет приноситься Создателю всего на алтарях Теноктитлана, но непокорный дух сомнения вселяется в меня...

Но что бы ни судил Господь, а я, Зенон александриец, смиленно записал на свитках тусклого пергамента все то, что совершилось вокруг меня с тех пор, как у подножия Голгофы душа моя прозрела и я, лукавый раб, дерзнул по мере сил своих служить Тому, Кто сотворил народы всей земли и смертью искупил их вольные и невольные грехи...

А вы, потомки теперешних моих сограждан священной страны Кеми, — я верую, что некогда и вы, уж просветлен-

ные учением Христа, сойдете на берега Анахуака — и если один из вас найдет нетлеющий пергамент, то разберите на нем известные вам письмена, и вы тогда узнаете, что в годы старины здесь был Зенон, узнаете, что сделала для Господа красавица Айрани и почему в Теноктитлане известно знамение креста и существуют храмы во имя Спасителя людей...

А если нет, если погибнет, дело, которому четыре девушки Анахуака отдают теперь свою молодую жизнь, то пусть бесследно исчезнет написанное мною, пусть никогда не увидят его глаза людей, как не увидят свитков с священными преданиями о том, что некогда во всей стране, лежащей на запад от зеленых островов, только цветы возлагались на алтари богов и кровь невинных не обагряла их...

Какой-то звук доносится из глубины безмолвных зал...

Гремит оружие, слышны шаги...

Идут...

ИКАР ВАТИКАНСКОГО ХОЛМА

ИКАР ВАТИКАНСКОГО ХОЛМА

Необычайное оживление наблюдалось в это весенне утро на римских улицах и площадях... Крики продавцов холодной воды и фруктов сливались в какой-то сплошной шум, напоминающий треск бесчисленного множества цикад, а голоса обитателей мирового города, неудержимым потоком стремившихся в одну и ту же сторону, казались эхом отдаленного прибоя и странно расплывались над сонным и мелководным Тибром.

Из узких уличек, выходящих на широкие дороги, показывались все новые и новые фигуры, закутанные в белые тоги с цветными каймами по краям, и напитанные благовониями куски прозрачных тканей то и дело подносились к лицам, чтобы защитить их от едкой известковой пыли, густыми клубами подымавшейся вслед колесницам патрициев и богачей. Курчаволосые и смуглые нубийцы гортаанными криками заставляли толпу расступаться перед носилками весталок; за ними, с топориком в короткой связке прутьев, спешил их постоянный спутник, ликтор, а рядом во весь опор проносился на аравийском жеребце, сверкая сталью лат, центурион...

И вся эта толпа пеших и конных, богатых и бедняков была полна одним стремлением и медленно, но неуклонно близилась к одной и той же цели... Вдали уже сверкала неподвижная гладь Тибра, за ним виднелось поле Марса, выше — мавзолей божественного Августа, ниже — громадные дворцы, которые только что начал воздвигать Нерон, еще пониже — театр Помпея, а за ними местами скрытые, местами видные постройки, множество портиков, колонн и храмов, многоэтажных зданий и, наконец, холмы, покрытые домами, которые, казалось, таяли в туманной синеве...

Весь Ватиканский холм, за исключением самой вершины, был сплошь покрыт народом, и собравшаяся здесь толпа была настолько велика, что темно-зеленая листва

высоких кипарисов точно трепетала под общим дыханием тысяч людей. Патриции, военачальники, известные трибуны и ораторы, разбившись на небольшие группы, обменивались короткими, но полными значения фразами; простой народ был занят тем же, но разговоры простолюдинов не отличались сдержанностью и были многословны...

— Взгляни, достопочтенный Марк,— произнес старый нобиль, прикрывая рукой глаза от солнца. — Мне кажется, что сюда действительно несется наш юный Марс — Октавий?..

Другой стариk, полуобернувшись, посмотрел в указанную сторону.

— Ты не ошибаешься, Антоний,— это он: я узнаю его идумейского коня...

— Солнце Африки не иссушило в нем порока, переставшего теперь быть только женским, — прославленный Октавий любопытен, точно девушка...

— Или как мы. — И оба патриция коротко рассмеялись...

— Ты несправедлив, мой друг, — произнес после короткого молчания Антоний. — Не забывай, что цезарь поручил нам наблюдать, какое впечатление произведет все это на народ...

— Я помню, Марк... Но неужели печальные лавры Икара действительно тревожат душевный мир этого Симона?

— Народ так говорит, но я слышал иное... Ты помнишь, может быть, рассказ проконсула Пилата о том, как в Иудее в его правление был распят галилеянин, который взбудоражил Палестину и даже называл себя царем? Имя его было Христос... И эта странная секта, разросшаяся в Риме, — его последователи; они считают, что учитель их воскрес и поднялся на небо, как некогда Икар, но только оттуда уже не возвращался... Симон тоже хочет подняться, но после этого вернуться в Рим и здесь пожать плоды успеха...

— Он не помешан?

— Об этом знают боги...

— Клянусь Юпитером! Все это очень странно! — воскликнул кто-то таким громовым голосом, что оба старика вздрогнули и обернулись.

Высокий и стройный воин, с красивым, но покрытым шрамами лицом, стоял подле патрициев, держа на поводу своего взмыленного коня.

— Излюбленный богами!.. Благословенный Марсом!.. — раздались приветствия обоих собеседников. — И ты на Ватикане?

— Но для чего, клянусь бородой Нептуна, и сам не знаю. Из города все спешат сюда; мне говорили, будто здесь видели крылатую волчицу и... — Тут воин понизил голос и почти шепотом закончил: — И с ней двух мальчиков — вернувшихся на холмы Тибра — Ромула и Рема...

Марк усмехнулся.

— Нет, прославленный Октавий, — произнес он, кусая губы. — Я о волчице не слыхал; говорят много об Икаре, но он ведь эллин и в Рим едва ли явится... Особенно из царства теней...

— Пусть меня раздавит дубина Геркулеса, если это не так, достопочтенный Марк! Но странные вещи бывают и в наше время, — повершишь ли, на обратном пути из Африки я видел сам летающую рыбу и потому подумал — в свое время я обучался логике в школе Музония — если у рыбы могут быть крылья, то почему им не оказаться и у волчицы? — и после этого поехал на Ватиканский холм.

— Хвала тебе, Октавий, твой вывод неподражаемо хорош, и я советую тебе остаться с нами: быть может, и в самом деле мы увидим что-либо крылатое...

— Совет хороший, клянусь колчаном и всеми стрелами Амура!.. Мы еще поглядим, что будет дальше и какое зрелище даруют нам милостивые боги. Я остаюсь... — И очень довольный собой воин, привязавши своего коня к ближайшему стволу, присоединился к обоим старикам...

Немного ниже, где более густыми массами собралась чернь, происходили иные разговоры.

Группа в пятнадцать-двадцать человек, бедно одетых и принадлежащих, по-видимому, к ремесленникам окраин-

ных кварталов Рима, сплошным кольцом окружила высокого, седого, как лунь, старика...

— Ты не знаешь, кто это? — тихо спрашивала молодая женщина стоящего с ней рядом мужа.

— И ты, Лигия, могла забыть его лицо? Ведь мы еще недавно видели его на богослужении в катакомбах. Это — великий старец Петр, он знал Его, Самого... — И тут говоривший, чтобы имени Христа не уловил какой-нибудь шпион, нагнулся и резкими штрихами начертал на песке изображение рыбы.

Жена его благоговейно взглянула на апостола Петра, так как это действительно был он, и напряженно стала прислушиваться к его словам... А седобородый старец тихим, но внятным голосом рассказывал:

— Я знаю Симона. Великий он маг и чародей, но озлоблена душа его и не на пользу ближним его знание сокровенных тайн, открытых ему духом тьмы. Помню, еще в те дни, когда со стадом был Пастырь и Искупитель наш, пришел он к нам и говорил: «Продайте мне тайну того, как вы крещением низводите на обращенных дары Духа Святого...»

В группе христиан послышался ропот негодования и изумления...

А старец продолжал:

— Я говорил ему, что эта великая тайна не покупается и не продают ее, но закоренелый Симон отвечал: «Ничего нет непродажного, и за то золото, которого вы не захотели получить, изведаю я тайны волхвов Вавилонии и Мидии и те же чудеса буду творить, что Галилеянин...» Терпелив Агнец и многомилостив, но уповаю я, что покараает Он Симона, если дерзнет тот совершить то, о чем здесь говорят...

Апостол окинул взглядом слушателей и умолк...

— Ты станешь славой Рима, — говорил невдалеке худощавый, с пергаментного цвета лицом известный оратор и юрист Домиций Севр. — Еще одна такая речь на форуме — и имя твое будет известно всей Империи...

— Ты слишком добр ко мне, прославленный!.. — краснея, возразил его собеседник, молодой еще и стройный че-

ловек с честолюбивым взглядом и гордой осанкой...

— Не я один: вчера мне говорила Рубрия...

— Какая Рубрия, не та ли, что у Остийских ворот?

— А разве есть в городе еще одна, носящая такое имя и у которой собираются даже сенаторы?

— Ты прав, Домиций... Но она здесь будет?

— Если позволят боги... Я ей советовал приехать: если задуманное Симоном свершится, то этот день для человечества будет важнее, чем тот, когда Прометей похитил с небес огонь. Мы покорим тогда воздушную стихию, и все подвиги Геркулеса померкнут перед подвигом сегодняшнего дня! Будучи совершеннее других существ, мы только тем отличаемся от полубогов, что небеса для нас закрыты, а тогда... О, мой юный, честолюбивый друг! Во что тогда превратится вся слава наша, кому будут известны наши имена? Как звезды перед солнцем, все наши деяния померкнут перед великим делом Симона... Потомки забудут цезарей, ваятелей, художников и мудрецов, но имя этого кудесника — оно бессмертно; ты слышишь, Кай, — бессмертно!..

— Но если так, то я надеюсь, что Громовержец не допустит этому свершиться.

Домиций Севр едва заметно улыбнулся.

— Надежда тебя обманет, Кай! Пойми, что эта мысль, раз зародившись в человеке, уже неистребима, и боги беспомощны перед ней; пускай не Симон, а другой в те годы, когда камня на камне не останется от Рима и Тибр засыплется песком, пускай тогда подымется с земли и завоюет небо, но все же имя первого, имя родившего великую идею, затмит далекого потомка и будет вечно жить, и имя это будет — Симон!..

— Ты не завидуешь ему?

— Нет, Кай, — я преклоняюсь...

Ближайшие к вершине ряды заколыхались, и по толпе пронесся гул десятков тысяч заглушенных голосов. Глаза всех, точно по волшебству, устремились в одну точку, и зрители замерли в напряженном ожидании чего-то, еще не видного, но что сейчас наступит и что должно будет от-

ветить и разрешить сомнения собравшихся здесь обитателей священного города семи холмов...

— Пускай меня поглотит Стикс, — загрохотал невдалеке молодой центурион. — И пусть я попаду живым в ладью Харона, если здесь не произойдет чего-то занимательного... Клянусь хвостом и головами Цербера!

— Но только не появление волчихи, высокородный мой Октавий...

— Я то же думаю, иначе мой конь не был бы так спокоен. Барсы, шакалы и гиены никогда не подходили незамеченными к лагерю... А ведь волчиха — почти шакал, не так ли?

— Ты делаешь честь Музонию и его школе, воспитывавшей тебя...

Между тем, оживление на вершине холма принимало все более и более широкие размеры; часть зрителей спустилась ниже и совершенно освободила верхнюю площадку, по которой теперь двигались только одинокие фигуры людей, навьюченных чем-то похожим на свернутые полотнища палаток. Они складывали свою ношу на самой высокой точке, распутывали какие-то узлы, подымали с земли осколки камня и апельсинную кожуру и, наконец, молча отошли в сторону и остановились там, сложив руки на груди, неподвижные, как статуи египтян, вывезенные триумфаторами из прославленной Александрии...

Все разговоры стихли, и недавно еще шумевшая толпа напряженно смотрела на эти бесстрастные фигуры рабов или помощников Симона-кудесника, точно от них ожидая ответа на интересующий ее вопрос.

Слышно было, как шелестели листья на сикоморах и где-то далеко за Тибром разносился одинокий голос пропавца воды...

И вдруг вся эта масса, как одно существо, дрогнула и всколыхнулась... На вершине Ватиканского холма стоял высокий человек с расчесанной по-ассирийски бородой, а блеск его черных глубоких глаз был виден даже издали...

— Симон-волхв!..

— Кудесник Симон!..

Уверенными шагами приблизился он к сложенным вместе сверткам и наклонился над ними, но вскоре, по-видимому, удовлетворенный этим беглым осмотром, снова выпрямился во весь рост.

— Римляне! — произнес он сильным и резким голосом, но, судя по акценту, нельзя было сказать кто он: германец, галл, вавилонянин или же перс. — Доселе люди пользовались всеми стихиями себе на благо; всеми, кроме воздуха, который был предоставлен птицам, и духам добрым, и духам злым. Но час настал, — человек вырос, и пора ему сравняться с бессмертными богами, пора завоевать ту сферу, которая нас отделяет от обитателей Олимпа; все небожители: Юпитер, Зевс, Шива, Озирис — все они близки земле, и только власть над воздухом возвышает их над смертными. Римляне! я объявил войну бессмертным, и сегодня отдам вам небеса!

Толпа молчала. Никто не проронил ни звука.

Кудесник подал знак, и тотчас же его безмолвные помощники приблизились к нему, подняли с земли то, чтоказалось полотнищами свернутых палаток, и быстро развернули их. В воздухе мелькнули прутья, длинные и тонкие, но издали нельзя было увидеть, из чего они сделаны — из металла ли или из дерева. Симон распростер руки, точно благословляя собравшийся народ, и тотчас же скрылся за складками какой-то белой ткани, которой его окутали рабы...

Прошло несколько томительных минут, но вот помощники волхва так же безмолвно, как пришли, вернулись на свои прежние места, а их властитель опять открылся взору римлян... Но это уже был не прежний Симон — плотно прилегающая к телу ткань обрисовывала его стройную фигуру, благодаря чем он весь казался обнаженным; а то, что было принято толпою за полотнища палаток, превратилось в подобие гигантских крыл, которые кудесник то складывал, то снова распускал.

Еще мгновение — и он, сделав несколько неуверенных шагов, потому что такое же подобие хвоста стесняло его ноги, приблизился к обрыву, которым заканчивался холм,

и там остановился, точно испытывая силу ветра.

Все замерли...

Крылья взмахнули, точно исполинский лебедь расправил их,— и Симон ринулся с горы...

Крик ужаса пронесся над толпой и... стих. Он не упал на камни, нет! Исчезнув где-то внизу, он теперь снова поднялся над холмом и плавно возносился вверх, в бездонную, пронизанную светом синеву...

Сначала никто не верил своим глазам, но, плавно рассекая воздух гигантскими крылами, все выше и выше подымался чародей, и вот тогда, охваченная стихийной радостью и гордостью освободившихся рабов, молчавшая толпа вдруг разразилась таким неудержимым взрывом рукоплесканий, что эхо их могучими волнами разнеслось по всем семи холмам и, опускаясь вниз, так грохотало в стенах недавно выстроенного цирка, точно все здание обрушилось и каменные плиты его с громовыми раскатами громоздятся друг на друга...

Испуганные лошади срывались с привязей и мчались вниз, увлекая за собой звонко несущиеся колесницы... Но этого никто не замечал. Толпа, наводнившая холм Ватикана, ревела, как разбушевавшийся прибой; стража ударяла мечами о щиты, резко звучали серебряные трубы, и все эти неистовые звуки сливались в какой-то невообразимый вихрь, во что-то невозможное, неведомое Риму и никогда еще не испытанное им...

Но взоры, взоры всех были прикованы к той точке небосклона, где сейчас, как одинокий лебедь, парил великий Симон, Симон, равного которому не было с тех пор, как существует Город... Прометей — с одним лишь им можно было сравнить кудесника,— и он был им, вторично даря людям небесный свет, но только не похищенный, а завоеванный у неба...

Но что это? Точно стрела вонзилась в одно из крыл его, и только редкими взмахами другого он держится еще на воздухе. Спускается; все ниже, ниже... Нет, не спускается — он падает, стремительно несется на острые выступы холма!..

Десятки тысяч рук поднимаются, точно они могут этим удержать его. Еще мгновение — последний взмах уцелевшего крыла, и Симон падает за землю.

Сила удара ослаблена, это даже не падение, а быстрый спуск, но все же волхв лежит не шевелясь, лицо его бледно и боль видна в черных сверкающих глазах. Безмолвные рабы спешат к нему, освобождают тело от обрывков огромных крыл, бережно поднимают Симона и быстро уносят прочь... Толпа перед ним расступается, как перед триумфатором, въезжающим в Город во главе победоносной армии с плененными царями вражеских племен...

Солнце близится к закату, и та же необозримая река людей стекает с Ватиканского холма обратно в Рим. Первое возбуждение прошло, все молчаливы и все удовлетворены минувшим днем...

В ближайший срок многие язычники крестились, так как слова апостола, что Агнец накажет святотатца, услышаны были не только христианами, и исполнение пророчества произвело неизгладимое впечатление на пылкие умы...

А в то же время на вершине Ватиканского холма, по повелению Нерона, воздвигли статую волхва, и надпись, помещенная на пьедестале, гласила: «*Simoni Deo sancto*»...

ТАЙНА НЕГАТИВА

— Так ты отказываешься взять свои слова обратно?

— Отказываюсь.

— Не понимаю твоего упрямства...

— Да ведь от того, что я соглашусь признать себя неправым, эта рыжекудрая кукла Норская...

— Вы забываетесь, Андрей Сергеевич!..

— Ба! Ба!.. На «вы» уже. Недурно!.. Было бы из-за чего...

— А вы находите, что не из-за чего?

— Как на чай взгляди! Я лично думаю, что ни одна женщина не стоит того, чтобы старые друзья обменивались из-за нее теми «комplimentами», которыми мы уже успели «усладить» друг друга. А мадемузель Норская, — знаешь ты ее, кажется, без году неделю, — тем более!

— В таком случае, позвольте вам сказать, что вы...

На верхней палубе огромного парохода, где происходил этот разговор, наступило внезапное молчание.

Откуда-то снизу доносились звуки бальной музыки и широко разливались над солнечным одесским портом; жизнь шумного города постепенно замирала, и теперь он, точно в дремоте, редкими огнями гляделся в море. Крупные южные звезды трепетали в бездонных глубинах неба, а отражение их искрящимися струйками пробегало по мертвый зыби.

Ночь была теплая и ясная, одна из тех ночей, когда человек невольно начинает ощущать в себе какое-то странное и сладкое томление, тихую грусть и жалость к самому себе, такому слабому и ничтожному перед лицом могущественной и всеобъемлющей природы.

Но оба разговаривавшие, раздраженные и взволнованные, уже не могли подпасть под очарование этой ночи. Один из них, судорожно сжимая поручни, к которым он прислонился во время разговора, не то удерживал, не то старался выговорить не произнесенное еще оскорбительное слово. Другой, по внешнему виду вполне спокойный, тоже молча

стоял перед ним и смотрел ему прямо в глаза.

— Послушай, — произнес он наконец, когда молчание стало невыносимым, — ты не закончил своей фразы, но окончание ее понятно и без слов. Нам больше говорить не о чем. Ни теперь, ни после. Очень жалею о случившемся. Прощай!

Он повернулся и, не торопясь, отошел к трапу.

Оставшийся проводил его глазами и, только когда тот стал уже спускаться вниз, сделал порывистое движение к нему, но тотчас же овладел собой и с деланным вниманием начал смотреть на отраженные в воде огни...

— Пренеприятная история! — раздался за его спиной чей-то басок.

Обернувшись, он увидел знакомую фигуру доктора Сирненко.

— Пренеприятная история! — повторил доктор, покачивая коротко остриженной головой и усаживаясь в плетеное кресло рядом. — Там дамы такую страсть подняли, вот я и вышел освежиться... Поднялся наверх — тут и звезды, и море, и мазут на море блестит — поэзия! В мечтательность погрузиться собирался, право! Однако, слышу — голоса, и голоса знакомые.

— И вы, вместо «мечтательности», шпионажем занялись?..

— Случайно услышал небезинтересный разговор — не затыкать же себе уши! С господином Пургальским разругаться изволили?

— А если бы и так?

— Да ничего, — мое ведь дело — сторона!.. А только не мешало бы вам, выюнош милый, обзавестись теперь тросточкой с клинком внутри, да подлиннее!..

— Какие мерзости вы говорите...

— Житейский опыт говорит — не я... Вот помяните мое слово, Аркадий Павлович, — встречаться с Пургальским в местах уединенных, хотя бы и живописных, не рискуйте!

Молодой человек еще ничего не успел ответить, как над палубой разнесся смешанный гул многих голосов, веселые восклицания, смех, и оба собеседника очутились в

центре оживленной группы пассажиров.

— Так вот вы где! — звучно раскатился голос капитана.

— Дамы справляются, куда это исчезли наши два Аякса? А они под открытым небом мировые вопросы разрешают...

— Я, однако, не вижу здесь Аяксов, капитан, — вставил гладко выбритый высокий и худой брюнет Норский. — Скорее: юный Фауст и располневший Мефистофель!

— И вы правы, Николай Львович, — «их нет и не будет уж вечно».

— Кого это не будет, доктор?

— Аяксов, Софья Львовна! — трагическим тоном заявил Сирненко, оборачиваясь к красивой стройной девушке. — Мне суждено было присутствовать при величайшем событии двадцатого века — я видел, как лопнули узы многолетней дружбы, я слышал... Впрочем, я ничего не слышал и нем, как рыба!

Несколько человек одновременно обратились к Аркадию Павловичу:

— Не может быть!.. Неужели верно? Вы и Андрей Сергеевич?.. Невероятно!

— К сожалению, это так, — ответил, кусая губы, Аркадий Павлович. — Мы с Андреем немного повздорили. Завтра помиримся, конечно, но покамест я не могу препятствовать доктору превращать муху в слона. Не удивлюсь, если история будет раздута еще больше, и доктор станет говорить...

— Что здесь зарыта собака, то бишь... женщина! Виноват! Никто не зарыт, но ищите женщину, господа!.. Ищите даму!

Восток уже начинал алеТЬ, а все небо подернулось светло-серой дымкой, когда последняя шлюпка с гостями отчалила от парохода и, вздрагивая под ударами весел, понеслась к берегу.

Шумная и веселая ночь окончилась; о ней напоминали только конфетти и длинные ленты серпантина, покрывавшие пол пароходного салона. Но скоро и эти шелестящие клубки исчезли без следа. Послышалось шарканье грубых щеток, надетых на ноги матросов, голоса, отрывистые при-

казания — и дневная жизнь судна вступила в свои обыденные рамки.

Норский вместе с сестрой стоял на верхней палубе и с утомленным выражением лица обрезал кончик сигары, а она, щуря свои зеленоватые глаза, упрямо смотрела на отражающиеся в море первые лучи.

Пароход перед полуднем снимался с якоря, и потому они предпочли не уезжать на берег. Спать тоже уже не стоило ложиться.

Николай Львович закурил, и легкая струйка дыма растяла в прозрачном воздухе.

— Удивительная история, — произнес он, не глядя на сестру, — и из-за чего это они поссорились?.. Все время, что мы пробыли в Одессе, они казались парой попугаев-неразлучек... Помнишь, у тетушки Аглай?

— Да ведь Аркадий Павлович при тебе же говорил, что доктор, по обыкновению, раздул самую безобидную размолвку.

— Не думаю! Я хорошо знаю Пургальского. Он неспособен ссориться без основательных причин.

— Но как же Аркадий Павлович?

— Возможно, что он рассчитывает на примирение... Я тоже убежден, что до поединка не дойдет и, возвратясь из Севастополя, мы встретим их обоих в полном здравии, но уж Аяксы-то исчезнут без следа... В этом не может быть сомнения...

Обмениваясь мыслями о непонятной ссоре двух друзей, Норские не заметили, как наступило время завтрака.

Когда же они, поднявшись из-за стола, опять прошли на палубу, то окружающая картина успела заметно измениться. Пароход, вышедший к ночи на рейд, теперь опять стоял у мола; шумная и красочная южная толпа широкими волнами переливалась на берегу, а вереница пассажиров, колеблясь и извиваясь, как исполинская змея, тянулась через мостки и исчезала в глубине железного гиганта.

Солнце, почти достигшее зенита, беспощадно обжигало и палубу, и известковые террасы города...

Но вот где-то раздался глухой хрип, через мгновение сменившийся могучим ревом; послышалась команда, сходни сняты, под кормой забурлила вспененная винтом вода, — и пароход как-то боком стал отходить от берега.

Медленно отступили ближайшие постройки, отодвинулась назад серая масса города, а морской простор все ширился, словно расступаясь перед несущимся вперед судном.

Кое-где на горизонте начали появляться грациозные очертания яхт. Как белокрылые морские птицы, чуть трепеща, скользили они над волнами, по временам склоняясь к ним и почти касаясь их своими крыльями-парусами. Иные только на несколько минут показывались вдалеке и постепенно уменьшающейся белой точкой исчезали; другие, напротив, долго шли рядом с пароходом, пока, понемногу отставая от него, не начинали сливаться с гребнями волн, как будто растворяясь в серебристо-белой пене...

На одну из таких яхт обратила внимание Норская. Ее стройный силуэт показался девушке знакомым, и она напряженно стала присматриваться к ней. Николай Львович, стоя рядом, все время прицеливался объективом своего «кодака» то в одно, то в другое из проходящих мимо суденышек.

— Коля, посмотри, пожалуйста, вон на ту яхту.

— Которую?

— Вон, в стороне...

— Ну, вижу...

— Не кажется ли тебе, что она похожа на «Эвнику» Пургальского?

— Все они похожи друг на друга... Где твой бинокль?

— В каюте.

— Ну, делать нечего — устроимся иначе...

И Норский снова наклонился над аппаратом. Затвор «кодака» коротко и сухо щелкнул.

В то же мгновение яхта сильно накренилась, паруса на ней затрепетали и, круто повернувшись, она понесла в противоположном направлении.

— Готово! — воскликнул Николай Львович. — Твое любопытство будет вполне удовлетворено.

— Воображаю! — разочарованно протянула девушка, — и так ее чуть видно, а на твоем снимке получится горошинка!

— Мы — жрецы фотографического объектива — умеем обращать горошинку в яблоко.

— Ты увеличишь этот снимок?

— Само собой понятно... И если это яхта Пургальского, то тот же снимок разрешит и утренний наш спор. Он и Аркадий Павлович выезжали в море всегда вдвоем; следовательно, если примирение уже состоялось — то на снимке получатся две фигуры.

Пароход шел уже в открытом море. Нигде не было видно ни одного судна. Солнечные лучи пронизывали зеленоватые волны, преломлялись в них и огненными стрелками исчезали где-то в темной глубине. Резвые дельфины неслись впереди, точно указывая путь среди прозрачных равнин своего царства.

Прохладный бодрящий ветерок налетал порывами и по временам бросал на палубу клочки солоноватой пены...

Софья Львовна проснулась довольно поздно и вышла на веранду. День был солнечный; спокойное море чуть слышно рокотало невдалеке, а листва кустарников и коротко подрезанный газон, несмотря на лето, казались сочными и свежими.

— Доброго утра, Соня! — обратился к ней Норский, приподнявшись с плетеного кресла, в котором он сидел. — Ну, как спала?

— Благодарю... Что у тебя там?

— Почту разбираю, — и Николай Львович указал на кипу журналов и газет, лежащую на столике у кресла. — Быть может, хочешь просмотреть что-либо?

— Нет, не хочу... А впрочем, дай-ка «Новое время» — в Одессе мы его не получали.

Она сорвала с газеты бандероль, но тут точно вспомнила о чем-то и отложила ее в сторону.

— Послушай, Коля, а как же снимок?

— Снимок... Какой?

— Вот это мило! Три дня уже, как мы приехали, а он

еще и не проявлял его, должно быть!

— Ах, вот ты о чем! Не беспокойся, я проявил и даже напечатал, но — к сожалению — труды мои остались втуне.

— Как это так?

— А очень просто: гребень волны прикрыл всю яхту, и только нос с началом надписи оказался на виду... Немного увеличив, можно, разумеется проверить, «Эвника» это или нет, но уж людей на ней увидеть не придется. Сегодня вечером, если тебе так хочется, я увеличу.

Девушка бросила скучающий взгляд на море, перевела его на столик брата, склонившегося над газетой, и затем машинально развернула какой-то иллюстрированный журнал. Но не успела она еще прочесть надписи под первым рисунком, как остановилась, изумленная странным выражением лица Николая Львовича.

— Коля! Что с тобой? — воскликнула она, видя, что тот с каждой секундой становится бледнее.

— Постой... — пробормотал Норский растерянно. — Что за чертовщина? Не может быть! — Глаза его быстро пребегали одну строчку за другой... — Нет, верно! В «Одесском листке» то же! Вот, прочти! — и он протянул сестре газету.

Софья Львовна взглянула на указанное место, и ей сразу же бросился в глаза набранный кричащим шрифтом заголовок:

«Трагедия на яхте. Убийство А. П. Силина».

Она была совершенно равнодушна к Аркадию Павловичу, но известие о смерти человека, с которым она еще несколько дней тому назад разговаривала и щутила, не могло ее не поразить. Девушка, бледная и взволнованная, перешла от заголовка к тексту...

Сначала шли перлы трескучего репортерского красноречия, а затем уже следовало изложение сути дела.

«Как удалось установить, — читала Софья Львовна, — убитый и А. С. Пургальский провели канун рокового дня на па-

роходе “Император Александр”, куда, в числе других, были приглашены на вечер капитаном. А. П. Силин, как нам известно, настойчиво, но безуспешно ухаживал за мадмуазель Н... Пургальский, считавшийся близким другом убитого, по не-выясненным еще причинам неодобрительно смотрел на это увлечение, и в результате между ними произошел крупный разговор, закончившийся полным разрывом. Популярный среди одесситов, доктор С. оказался случайным свидетелем про-исшедшей сцены и вынес из нее крайне неблагоприятное для Пургальского впечатление. Это, впрочем, будет выяснено на су-де; здесь ограничимся сухим изложением фактов.

Около десяти часов утра следующего дня яхта Пургаль-ского “Эвника” вышла в море, имея на борту владельца и А. П. Силина. Несчастный доверчиво согласился на прогулку, не по-дозревая даже, что отправляется навстречу смерти, на которую его уже обрекла жажда мщения. После полудня яхта верну-лась обратно в порт — но как!.. На ней по-прежнему было два пассажира, но в живых оставался только один ее хозяин. Си-лин безжизненной массой лежал у ног Пургальского! Очевид-но, он был убит сзади ударом весла, размозжившим ему че-реп...

Убийца арестован. Он упорно отрицает свою вину. По его словам, покойный около семи часов утра сам пришел к нему, поднял с постели и извинился перед ним. Они подали друг другу руки и, чтобы ознаменовать примирение, решили сде-лать вдвоем небольшую прогулку на “Эвнике”. Что же касает-ся убийства Силина, то он “положительно не понимает, как это случилось”(?!). Смерть его друга последовала будто бы в тот момент, когда “Эвнику” в открытом море опередил “Импе-ратор Александр” и он, сидя на руле, на несколько секунд по-терял из виду своего спутника, маневрировавшего парусами. Затем яхта сильно накренилась, после чего он переменил курс

— и только тогда заметил Силина лежащим без сознания у мачты".

— А ведь это же верно! Совершенно верно! — воскликнула девушка, прочитав последние слова и опуская газету на колени...

— Что верно? — поднял на нее глаза Николай Львович.

— А ты разве не заметил, что с «Эвникой» в то время, как ты ее снимал, произошло что-то странное? Я это помню хорошо.

— Ничего странного — только твоя фантазия... Хочешь, я негатив принесу?

— Принеси, посмотрим...

Норский прошел внутрь дома и возвратился с небольшой стеклянной пластинкой в руках.

Софья Львовна взяла ее и внимательно начала рассматривать на свет.

— Да! — произнесла она задумчиво. — Ты прав... Хотя... хотя... Что это за пятнышко?

— Какое?.. А, это! Песчинка, вероятно, попавшая в фиксаж.

— А это?

— Это? Покажи. Это... Действительно... Нет, вздор, дыра в парусе, и только.

— А знаешь, Коля, ты бы все-таки увеличил этот снимок.

— Изволь, изволь! Хотя толку от этого мало будет... Мне вот только одно досадно, что этот мерзавец-репортер тебя сюда припутал. Пойдут сплетни по всей Одессе!..

Норский исполнил обещание — и в тот же вечер увеличил снимок.

Он нимало не сомневался в бесцельности предпринимаемого опыта и механически, думая совершенно о другом, делал все нужное. Но едва только взглянул на яхту, показавшуюся в светлом круге, упавшем на прикрепленный к стене лист бромистой бумаги, как остановился пораженный...

Сначала он глазам своим не верил, но через минуту нельзя уж было сомневаться. Перед ним, окутанные легкой дымкой, но все же отчетливо вырисовывались очертания судна. Теперь в нем без труда можно было узнать «Эвнику»; видны были даже первые буквы этого имени, не скрытые волной.

Но не это поразило Норского... Как зачарованный, смотрел он в одну и ту же точку, будучи не в силах оторвать от нее взгляда. Когда Софья Львовна, еще на негатива, обратила внимание на небольшое пятнышко, он объяснил его прорехой на парусе. Но теперь там совершенно ясно видна была фигура человека, сорвавшегося с мачты и стремглав падающего вниз...

— Так вот оно что! — невольно вырвалось у Норского.

Мысль эта молнией промелькнула в сознании Николая Львовича. Он даже почувствовал легкий озноб, подумав о том, какое влияние может иметь этот случайный снимок на участь обвиняемого в убийстве человека...

Он хотел было тотчас же пройти к сестре, но, посмотрев на часы, решил отложить это на завтра.

Несколько часов прометался он без сна в постели, а затем, когда ему, наконец, удалось уснуть, то сон его был так крепок и продолжителен, что Софья Львовна должна была послать разбудить его.

Проснувшись и сразу же вспомнив о вчерашней работе, Норский торопливо оделся и прошел в гостиную, к сестре.

— Военным судом, вот телеграмма! — встретило его восклицание Софии Львовны.

— Ах, да... Чрезвычайная охрана. Я и забыл... Но не в этом дело. Представь себе, ты оказалась ведь права... С «Эвникой», действительно, произошло что-то странное. Вот, посмотри... — и он протянул ей лист со снимком.

Софья Львовна взглянула на него и, слабо вскрикнув, опустилась в кресло.

— Ну? — произнесла она коротко, глядя в упор на брата.

— Я, право, уж не знаю, — развел он недоумевающе руками. — Нужно будет написать следователю и завтра же

отослать снимок по почте.

— Да ты с ума сошел!.. Ведь завтра суд. Военный суд!..

Николай Львович нахмурил брови и, облокотясь на карниз камина, задумался. Норская нетерпеливо била веером по ручке кресла.

— Послать разве кого-нибудь, — произнес он нерешительно.

— Скорый уже ушел, а если с почтовым — не поспеть...

— Так как же тогда? У меня мысли путаются, — ничего не соображаю...

— Автомобиль — только!

— Это, значит, такая скачка, о какой мы и не слыхивали?

— Что же делать? Жизнь человеческая того стоит.

Прошла минута или две.

— Соня! — произнес он, наконец, смиренно. — Ты и на этот раз права... Поедем!

* * *

Через полчаса решетчатые ворота усадьбы Норских распахнулись, и на дорогу с бешеным ревом вылетел мотор.

Дома, изгороди точно вихрем относились куда-то вдаль, группы деревьев зелеными облаками мелькали перед ними и исчезали позади. Воздух со свистом ударял в лица двух людей, вверивших свою судьбу и судьбу третьего человека дрожащей от напряжения машине...

Спасая жизнь одного, двое других в течение многих томительных часов сами были на волосок от смерти. Но каким-то чудом этот невероятный по своей скорости пробег закончился благополучно.

Они не опоздали.

* * *

Пользуясь правом автора, которому разрешается знать больше, чем другим, могу сообщить читателям — конечно, по секрету, — что фамилия Софьи Львовны изменилась и что Пургальский для нее теперь отнюдь не безразличен.

Приходилось мне также слышать, что теперь в его присутствии ни один смельчак даже заикнуться не посмеет о том времени, когда мадемуазель Норская казалась ему «рыжекудрой куклой, не стоящей того, чтобы из-за нее ссориться с друзьями»...

ГУБЕРНСКИЙ ШЕРЛОК ХОЛМС

I.

— Нет! Это, наконец, возмутительно! — раздалось где-то в комнате, и вслед за тем на веранду выкатилась небольшая круглая фигурка Александра Фомича Букатова, владельца трехсот пятидесяти десятин запущенной земли и такой же усадьбы в бассейне «реки» Гнилопрясиновки.

— А что такое?.. — равнодушно отозвался господин, сидевший на крылечке. — Не подходи только! Не подходи! Лески перепутаешь... Говори, где стоишь... Что случилось?..

— Возмутительно! Прямо-таки возмутительно!..

— Да это я уж слышал, а что дальше?..

— Представь себе, приехал Федька...

— Знаю, мы с ним рыбачить отправляемся сегодня...

— А ты не перебивай, не в этом дело!.. Захожу к нему только что в мезонин — взглянуть, как он устроился... Сказал что-то; гляжу, а у него весь стол завален какими-то разноцветными книжонками... «Что это?» — спрашиваю. — «Ничего, папочка, книжки: вот это — Шерлок Холмс, а вон Нат Пинкerton, а те поменьше — Ник Картер, а вот дальше»... И пошел, и пошел!.. «Ах, ты, поросенок, — говорю, — тебе бы Андерсена читать, до Майн Рида не дорос еще, а туда же за эту дребедень берешься». — «Ничего подобного, папочка! Майн Рид уж устарел, а эти книжки развивают наблюдательность и мне полезны». Каково?!.. Плюнул я, разумеется, и бомбой вылетел за двери.

— Общеизвестный педагогический прием... А возмущаешься-то ты совсем напрасно...

— И ты туда же!.. Ну, скажи по совести, стоит ли хоть гроша ломаного вся эта феноменальная наблюдательность, построенная на явной подтасовке фактов?..

— Стоит, и даже много больше.

— Да ну?.. Пожалуй, ты еще станешь утверждать, что и в действительности возможно что-либо в том же роде?

— Представь себе, что стану. Всех этих Пинкертов я не читал, да и надобности нет читать, ведь они — копия, а с оригиналом, Конан Дойлем, я основательно знаком и мнения о нем высокого...

— Вот ерунда!..

— Ты ошибаешься.

— А чем докажешь?..

— За доказательством далеко ходить не нужно... О Шерлоке Холмсе у нас еще и не слышно было, а я уже давно знал человека, который на своей практике применял тот же метод, что и герой Конан Дойля, и применял с успехом поразительным.

— Да? Это интересно! Кто такой?

— Ты не слыхал о нем, должно быть, — я тогда еще кандидатом был... Феогност Иванович Трубников...

— Трубников?.. Нет, что-то слышал, но только сразу не припомню...

— Если не торопишься, я могу рассказать что-либо...

— Вот и прекрасно!.. А я чаю выпью... еще не пил. Взволновал меня этот поросенок Федька, вот я и того, позабыл, что самовар уже затух.

— Ну, что ж, я с удовольствием. О чем бы только?.. — и говоривший, задумавшись, остановился.

Несколько минут длилось молчание. Александр Фомич совершенно успокоился, покончив с первым стаканом и уже принимался за второй...

II.

— Ну, так вот слушай... У Конан Дойля, если помнишь, Шерлок Холмс занимается химией, изучает пепел всех пабаков, но главным отличительным признаком является его страсть к курению... Феогност Иванович едва ли много смыслил в химии, вовсе не курил, но все сладкое любил до самозабвения. Это и естественно: у всех героев бывали свои странности, числилась такая и за моим... Когда, бывало,

ни придишь к нему, а на низеньком столе, подле его излюбленной тахты, уже красуется несколько стеклянных вазочек с различными вареньями, а между ними коробки с карамелью, пастилой, засахаренными фруктами, короче говоря, со всем, что только можно было раздобыть по этой части в единственной кондитерской Зетинска. Особенно налегал Феогност Иванович на эту снедь во время производства следствия... Ну-с, так вот, прихожу я к нему как-то около полудня. Дело было летом и притом в праздник, так что Феогност Иванович оказался дома, на своей тахте... Поздоровались, уселись я, но разговор не клеится... К счастью, на столе, как и всегда, оказалось несколько газет... Начал было я просматривать передовицу в «Нашем крае», а Феогност Иванович и говорит:

— Оставьте эту дребедень!.. Сегодня есть интересная заметка...

— В происшествиях?..

— Конечно.

Смотрю: «Кража со взломом», «Буйство на Дворянской», «Загадочная драма»...

— Последнее... Прочтите!..

Читаю: «Как ни изобилует наше время самыми загадочными самоубийствами, способными поставить в затруднение и опытных слуг правосудия кажущимся отсутствием первичных причин печального конца, но грустный факт, только что сообщенный нам, едва ли не превзойдет своей необъяснимостью все аналогичные печальные случаи последних лет. Мы говорим о трагическом конце А. А. Чарган-Моравского, покончившего с собой минувшей ночью в своем родовом поместье Тальники. Камердинер покойного, изумленный тем, что барин, обыкновенно рано встававший, в это утро, несмотря на довольно позднее время, не подавал звонка, вошел в спальню и нашел своего господина в постели уже мертвым. Смерть последовала от раны в область сердца, нанесенной выстрелом из револьвера системы "Смит и Вессон" 32 калибра, который оказался в судорожно сжатой руке самоубийцы. В записке, оставленной им на письменном столе, оказалась всего лишь одна сте-

реотипная фраза: “Прошу никого не винить в моей смерти”. Супруга покойного...»

— Довольно! Дальше неинтересно, — прервал меня Феогност Иванович.

— Охотно верю... Тем более, что и в прочитанном такового не наблюдается...

— Да... Вы правы... отчасти. Возьмите теперь номер «Бурлака» и найдите то же место. Нет, все читать не нужно. Вот отсюда...

— Хорошо. «На письменном столе был найден надписанный карандашом конверт на имя госпожи Чарган-Моравской, а в нем такая же записка с просьбой усопшего никого не винить в его смерти»...

— Вы не находите, что это происшествие становится интересным? — спросил Феогност Иванович.

— Откровенно говоря, я не понимаю, что вы хотите этим сказать!

— Да видите ли... — начал было он, но тут за окном загрохотали извозчики дрожки и остановились, в клубах пыли, у самого подъезда.

«Когда дым выстрела рассеялся», как выражался твой излюбленный Майн Рид, то можно было видеть, что дрожки доставили к нам совсем молоденькую барышню, почти подростка, которая быстро взбежала на крыльце и здесь остановилась, отыскивая, должно быть, отсутствовавшую дверную дощечку... Послышался звон, и я поспешил впустить неожиданную для нас гостью. Она вошла и нерешительно остановилась близ дверей.

III.

— Присаживайтесь, барышня! — предложил мой приятель, пытаясь выказать некоторую вежливость.

— Благодарю вас, Феогност Иванович... если не ошибаюсь?..

— Он, собственной персоной... А вы кто же будете?.. Да

отчего вы не садитесь?..

— Ах, помогите! Помогите мне!.. Вы знаете это ужасное происшествие?.. Мой бедный папа!.. — и барышня, вместо того, чтобы назвать себя, залилась слезами.

Трубников дал ей выплакаться вволю, а когда наша посетительница успокоилась, приступил к последовательному допросу, который обогатил нас следующими данными: сам Чарган-Моравский, так бесславно погибший в своем родовом имении, был уже далеко не молодой человек, хотя бодрый и жизнерадостный. Его первая жена умерла лет восемь тому назад, оставив после себя дочь, Любовь Андреевну, нашу посетительницу, и сына, тогда двухлетнего ребенка. Когда первой исполнилось шестнадцать лет, ее отец женился вторично на княжне Захлябиной, теперешней мадам Чарган-Моравской. Вполне корректные, хотя и сдержанные отношения их друг к другу совершенно исключали возможность самоубийства на почве интимных недоразумений. Население усадьбы, кроме владельца, его жены и двух детей, составляли: камердинер Трофимыч, кандидат прав Орликов — гувернер мальчика, кучер Павел, ключница Берта Карловна и несколько человек домашней прислуги.

— Зачем вы называете мне эти имена? — спросил Любовь Андреевну Трубников, когда она начала перечислять всех обитателей Тальников.

— Потому что я не верю в самоубийство папы! — горячо воскликнула девушка.

— Да... Почему же?.. Пропало что-нибудь ценное?..

— Нет, но я не верю!..

— Хорошо!.. Камердинер вошел в спальню вашего батюшки, встревоженный тем, что его в обычное время не позвали, не так ли?..

— Да, папа обыкновенно вставал в восемь часов...

— Комната камердинера была далеко от его спальни?..

— Нет, между ними только одна библиотека.

— Та-ак... Неловко мне, милая барышня, впутываться в это дело — ведь именье-то ваше в участке Ядринцева... Ну, да авось, он в претензии не будет — могу понадобиться ему

на будущее время... Надеюсь, ничего не передвигали, не чистили?.. Все в первоначальном состоянии?..

— Да, следователя еще не было; только тело папы прикрыто простыней.

— Ну, в таком случае, поедем... Ваши лошади на постоялом?.. Мишка! Одеваться!..

IV.

Всю дорогу Феогност Иванович сосредоточенно молчал, и только хрустение на его зубах прескверных леденцов, купленных им по пути на постоялый двор, доказывало, что его мысль усиленно работает над разрешением непостижимой для меня задачи. Мадемуазель Моравская несколько раз недоверчиво взглянула на моего приятеля, но я шепотом объяснил ей значение этого священнодействия — и она успокоилась. В глубоком молчании переехали мы гнилоподгнилый трясиновский мост, и только когда из-за березовой рощи поднялись серые контуры строений Тальников, Феогност Иванович выбросил на дорогу остатки леденцов и пытливым взглядом стал осматривать окрестности.

Через пять минут мы были у подъезда старинного барского дома.

Еще на пороге нас встретил судебный следователь Ядринцев и, поздоровавшись с Феогностом Ивановичем, сказал:

— Вы, коллега, прекрасно сделали, поторопившись приездом, так как мадам Моравская настаивает на немедленной отдаче тела покойного в руки домашних и, благодаря неоспоримости факта самоубийства, у нас нет данных отказывать ей в этом. А между тем, я узнал о вашем желании лично ознакомиться с обстановкой происшествия, и потому еще не начинал осмотра.

— Очень признателен вам, Аркадий Павлович! В случае надобности во всякое время рассчитывайте на меня. Но

к делу!.. Вы, кажется, сказали, что вам было известно о моем приезде?..

— Да, мне это сообщила мадам Моравская... То есть, она предполагала, что приехать можете и не вы, но я, разумеется, знал, что больше некому...

— Ну да, само собой разумеется... А теперь, я полагаю, можно пройти и к месту происшествия, —сказал Феогност Иванович, и мы последовали за Ядринцевым, который провел нас во второй этаж дома.

Расположение комнат здесь было очень просто: во всю длину дом пересекал прямой широкий коридор, по обе стороны которого и находились восемь комнат верхнего этажа. С левой стороны в коридор выходили две двери, расположенные в его противоположных концах; справа — три; две *vis-a-vis* с предыдущими, и одна на половине расстояния между ними. Ядринцев провел нас до конца коридора и повернул налево; мы очутились в маленькой комнате, из которой дверь вела в довольно обширную библиотеку.

— Кто здесь жил? — спросил нашего проводника Феогност Иванович.

— Старик-камердинер, помнящий усопшего еще ребенком...

— Хорошо... Значит, один вход в библиотеку из этой комнаты, а другой — из двери напротив; она, вероятно, ведет в комнату самого Моравского?

— Да... Войдем, там все готово...

Трубников поднял тяжелую портьеру, и я не без волнения переступил порог, за которым не дальше, как сегодняшней ночью, прошел загадочный призрак смерти...

Спальня покойного была невелика и отличалась спартанской простотой всей обстановки. На стенах тесаного дуба не было ни картин, ни драпировок; только над письменным столом, стоявшим в простенке между двумя окнами, висела коллекция восточного оружия, между которым виднелось несколько старинных пистолетов. Прямо против нас — такая же портьера, как на первой двери, маскировала вторую дверь, ведущую, как потом оказалось, в спальню госпожи Моравской; а налево от нее, у стены, примыкал-

шёл к коридору, стояла кровать с телом усопшего. Чарган-Моравский лежал на спине, с немного запрокинутой головой, и казался бы спящим, если бы не темно-бурое пятно на левой стороне его груди и револьвер в судорожно сжатых пальцах правой руки.

В комнате, кроме нас, было еще несколько человек, среди которых особенно выделялся своим молчаливым отчаянием высокий, совершенно седой старик, стоявший в ногах постели. Он даже не обернулся, когда мы вошли, и не оторвал пристального взгляда от тела своего господина.

V.

— Приступим? — вопросительно проговорил Трубников. Следователь, исполнявший роль хозяина, молча кивнул головой.

— Теперь, доктор, ваша очередь, — обратился Феогност Иванович к невысокомуному полному господину, когда убедился, что в комнате, кроме нас и понятых, нет никого. — Вы можете определить причину смерти?..

— С полной уверенностью! Смертельная рана в область сердца... Безусловно смертельная! — повторил доктор еще раз, отвечая на пытливый взгляд Трубникова.

— Хорошо... В таком случае, потрудитесь извлечь из раны пулью; это, полагаю, можно сделать, не безобразя трупа, так что чувства родных не будут оскорблены...

Доктор вынул какие-то инструменты из черной сумки, бывшей у него в руках, и засучил рукава.

Но Феогност Иванович остановил его:

— Повремените-ка минутку! Сперва я должен взять револьвер — он может пригодиться. Аркадий Павлович, потрудитесь записать в протоколе положение пальцев на рукояти револьвера: большой с левой стороны; указательный — на гашетке; три остальные справа, слабо охватывая рукоять, — Трубников наклонился еще ниже и осторожно вынул оружие из окостеневших пальцев мертвеца. Несколько мгно-

вений он молча рассматривал небольшой револьвер и вдруг воскликнул:

— Вы уверены, Аркадий Павлович, что никто не прикасался к трупу?..

— Да! Понятые не выходили отсюда ни на минуту; я тоже пробыл здесь до вашего приезда...

— Прекрасно!.. Доктор, теперь я попрошу вас приступить к извлечению пули.

С последними словами Трубников подошел к столу и точно отыскивал на нем что-то глазами. Наконец его взгляд остановился на продолговатой коробке с конвертами; он быстро взял ее, вынул содержимое и, опустив в нее револьвер, бережно закрыл.

— А вот вам дополнение к коллекции вещественных доказательств! — произнес доктор, подавая ему вынутую из раны пулью.

Феогност Иванович мельком взглянул на нее, улыбнулся и сунул в жилетный карман, после чего спросил:

— Вы записываете, Аркадий Павлович?

— Да...

— Где письмо, оставленное покойным?..

— Вот, на столе... Оно распечатано мадам Моравской, но затем снова положено на прежнее место.

Трубников взял письмо и несколько минут внимательно рассматривал через увеличительное стекло его конверт. Но этот осмотр, по-видимому, оказался безрезультатным, и Феогност Иванович с недовольным лицом вынул само письмо. Он взглянул на него, затем понюхал и, усмехнувшись, опустил в карман.

Меня нисколько не изумили эти странные манипуляции, но Ядринцев насмешливо переглянулся с доктором.

Между тем, Трубников снова подошел к постели, потер какой-то губкой палец умершего, прижал к нему вынутую из кармана спичечницу и, положив ее в ту же коробку, где был револьвер, обратился к нам:

— Я кончил, господа! Думаю, что близкие могут теперь получить тело. Вы, Аркадий Павлович, не откажете мне в своем обществе при последующих визитах?..

Ядринцев молча поклонился, и мы прежним путем вернулись в комнату камердинера.

Старик принял нас почти недружелюбно, но на предложенные ему вопросы отвечал вполне обстоятельно.

— Вы, Трофимыч, кажется, давно служите покойному?
— начал Трубников свой допрос.

— Да, сударь... Сорок третий год...

— Барин занимался комнатной гимнастикой?

— В молодости, сударь!

— Как в молодости?.. А гири, которые я видел у него под постелью?..

— Нет, это — гири господина Орликова; в этой комнате раньше занимались гимнастикой барчук и его учитель, а под спальню она пошла только неделю назад, когда понадобился ремонт в кабинете покойного барина...

— Какой ремонт?..

— Барыня приказала выложить пол паркетом, а то в двух комнатах Андрея Антоновича полы были из такого же тесаного дуба, как и стены... Барыне это не понравилось.

— Госпожа Моравская молода?

— Да, ей двадцать шесть лет; она на тридцать лет моложе покойного.

— Неужели вы не слыхали выстрела, Трофимыч?

— Не слыхал, сударь!.. Сам не понимаю, как это так случилось, но не слыхал. Барин около часу ночи лег и отпустил меня, а я в три проснулся, да так и не мог заснуть, а выстрела не слышал.

— А барыня когда легла?

— Должно быть, рано; я тогда же, около часа, сходил вниз, чтобы положить в приемной книгу, которую просила у барина Любовь Андреевна, а в столовой уже никого не было.

— Через вашу комнату никто не мог пройти к покойному?..

— Ни войти, ни выйти: дверь заперта на ключ с часу ночи, а отпер ее я же около восьми утра.

— Хорошо!.. Чья это комната против вашей, по ту сторону коридора?

— Господина Орликова.

- А в том конце, против спальни барыни?
- Барчука.
- А средняя дверь?
- В кабинет покойного барина, а оттуда уже другая дверь в его спальню.
- Из крайних комнат ходов в них нет?..
- Глухие стены, сударь!
- А двери между опочивальнями барина и его супруги закрывались или нет?..
- Со стороны спальни барыни.
- Хорошо!.. Вы, Трофимыч, можете поклясться, положив руку на Евангелие, что все сказанное вами — правда?..
- Конечно, сударь!.. — и старик поспешно снял с этажерки потертую от частого употребления книгу.

Трубников раскрыл ее на заглавном листе, и Трофимыч, положив на нее руку, торжественно удостоверил правдивость только что данных показаний...

Едва они кончили, как Феогност Иванович наклонился над Евангелием и благоговейно поцеловал раскрытую страницу; старик последовал его примеру, а что касается меня, так на этот раз и я был поражен странной выходкой моего друга, который, насколько мне было известно, никогда не отличался религиозностью, но вместе с тем никогда не позволил бы себе оскорбить религиозное чувство верующих.

— Благодарю вас, Трофимыч! — произнес Трубников и обернулся к нам. — Теперь, Аркадий Павлович, отправимся к мадам Моравской...

VI.

Горничная доложила о нашем приходе и, возвратясь, сказала, что барыня просит нас сойти в приемную. Я уже повернулся к лестнице, ведущей вниз, Ядринцев — тоже, но Феогност Иванович остановил нас и попросил передать барыне, что мы крайне спешим и потому просим немедленной аудиенции.

Несколько минут спустя мы уже были в будуаре молодой вдовы.

Навстречу нам поднялась с кресла красивая, даже очень красивая, но бледная и, очевидно, усталая женщина. Неожиданная катастрофа произвела на нее потрясающее впечатление, что и теперь сказывалось в беспокойном блеске ее глубоких черных глаз и судорожном подергивании уголков изящно очерченного рта.

— Господин Трубников? — произнесла она мелодичным, слегка вздрагивающим голосом. — Надеюсь, уже все кончено?.. Как я устала!.. Бедный, бедный мой муж!.. Кто бы это мог подумать?.. Какой ужасный конец!..

— Ради Бога, простите нас, сударыня, но мы никак не могли обойтись без нескольких вопросов, которые нам необходимо предложить вам лично...

— Спрашивайте, я постараюсь быть точной, насколько это в моих силах.

— Благодарю вас, сударыня!.. С вашего разрешения, будьте добры сказать, чем вы объясняете то обстоятельство, что ни вами, ни камердинером выстрел не был слышен?

— Относительно Трофимыча ничего сказать вам не могу; что же касается меня, то сегодня ночью со мною случился обморок, и возможно, что пока моя горничная спускалась вниз за спиртом, а я лежала без сознания у себя — и произошло это несчастье...

— Когда это случилось, вы не помните?

— Вероятно, в начале второго часа ночи... Точно сказать вам не могу.

— Благодарю вас!.. Больше, кажется, ничего... Ах, виноват, сударыня, у вас гусеница!.. Позволите?.. — и Трубников, осторожно прикоснувшись к плечу своей собеседницы, бросил червяка за окно. — Еще раз благодарю вас, сударыня, и не смею стесняться дольше своим присутствием.

Мы снова очутились в коридоре...

— Остается еще один и, надеюсь, последний визит! — воскликнул Феогност Иванович. — К гувернеру, господа!

Мы снова прошли весь коридор и постучались в последнюю дверь направо.

— Войдите! — ответил красивый мужественный голос, и на пороге показался высокий стройный молодой человек.

Он обладал наружностью еще более привлекательной, чем его голос. На широких плечах, указывающих на недюжинную силу, уверенно держалась голова со строгим римским профилем и высоким лбом, обрамленным довольно длинными волнистыми волосами.

Мы вошли в его комнату.

— Садитесь! Чем могу служить вам, господа?

— О, ничего особенного!.. Простое исполнение формальностей, и только!..

— Да?.. Так что же вам угодно узнать от меня?.. Вы курите? — обратился он к Феогносту Ивановичу, протягивая раскрытый портсигар.

Изрядно же я изумился, когда мой приятель поблагодарил, закурил предложенную папироску и вдруг так заинтересовался портсигаром, что, по-видимому, совсем забыл о цели нашего прихода. Он попросил разрешения подробно осмотреть его и, медленно поворачивая в руках эту серебряную коробочку, громко восторгался тонкостью резьбы, которая, на мой взгляд, ровно никуда не годилась.

— Прекрасные у вас волосы, сударь! — проговорил он наконец, возвращая портсигар его владельцу. — Вы, вероятно, недовольны, что они начали так сильно падать?..

— Да!.. Но почему вы это заключили?..

— Да вот один из них, бывший у вас же в портсигаре... Я не ошибаюсь?.. Люди нашей профессии, знаете ли, любят озадачивать такими заявлениями.

— Как это просто!.. А я было изумился. Да, волос, конечно, мой; они у меня действительно стали сильно падать... Однако, мы уклонились от первоначальной темы нашего разговора, господа!.. Вы, кажется, имеете что-то сообщить мне?.. — деланно равнодушным тоном обратился Орликов к Феогносту Ивановичу.

Тот медленно поднялся с места.

— Именем закона арестовываю вас за убийство Андрея Антоновича Чарган-Моравского! — заявил он и тяжело опу-

стил руку на плечо гувернера.

Орликов глухо вскрикнул и сделал порывистое движение по направлению к дверям. Они предупредительно распахнулись перед ним, и на пороге показался становой...

Из-за спины его выглядывали стражники...

Феогност Иванович выполнил свою миссию до конца, и наше дальнейшее пребывание в Тальниках теряло всякий смысл.

VII.

Во всю обратную дорогу Трубников не проронил ни слова и только когда мы снова очутились в Зетинске, в его квартире, и он опорожнил свой дорожный саквояж, я решил, что можно предлагать вопросы.

— Не откажетесь ли вы теперь, Феогност Иванович, объяснить мне свой образ действий в этой темной истории? — спросил я.

Трубников молча взглянул на меня, направился к тахте, улегся и, наконец, лениво произнес:

— Вы, кажется, назвали темным тальниковское дело?..

— Да, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что ни разу еще вам не приходилось разбирать случай более запутанный, чем этот.

— И вы ошибаетесь самым блистательным образом. Смею вас уверить!.. Скажу больше: я не понимаю, куда девалась человеческая изобретательность!? Возьмем для примера хотя бы сегодняшнее дело... Что может быть проще и легче? Я последовательно опишу вам путь, по которому я шел к разрешению задачи, предложенной нам господином Орликовым и мадам Моравской... Прежде всего, обратите внимание на заметки в «Нашем крае» и «Бурлаке». Они дают нам два интересных пункта: револьвер системы «Смит и Вессон» и написанная карандашом записка самоубийцы. Я не знал расположения комнат в тальниковском доме, но все же знал, что это — дом, а не замок остзейского барона,

а револьверы указанной системы производят вполне достаточно шума, чтобы разбудить не совсем умершую компанию. Уже этот факт навел меня на некоторые сомнения... Теперь обратите внимание на второй: когда культурный человек отказывается от чернил и обращается к помощи карандаша, чтобы написать деловую записку?.. Мне кажется, в том только случае, если чернил под рукой нет. Но письмо Черган-Моравского было оставлено на письменном столе, что совершенно исключает возможность такого положения. Допустима еще одна гипотеза: человек торопится, хватает карандаш, на листке бумаги, не садясь, набрасывает несколько строк и... пускает себе пулю в сердце. Однако же в заметке говорится, что записка была в запечатанном конверте и что конверт тоже был надписан — следовательно, это предположение привело нас к абсурду. Признаюсь, что, не будь револьвера, я не решился бы придраться к записке, но одна неправдоподобность усиливает впечатление и смысл другой... Вы следите за мной?..

— Да, продолжайте, пожалуйста!..

— По приезде в Тальники я сразу обратил внимание на третью неправдоподобность или, на этот раз, верней, ошибку: мадам Моравская говорила с Ядринцевым о моем приезде.... Домашние не сомневались в факте самоубийства, следователь — тоже, так что у вдовы не было никаких оснований приглашать частным образом еще одного следователя, раз сущность дела была так очевидна. Отсюда вывод: мой приезд мог быть желателен только сомневающимся, то есть одной Любови Андреевне. А между тем, Ядринцев узнал о моем посещении именно от мадам Моравской, для которой, конечно, не была тайной поездка ее падчерицы. Зачем же она сообщила ему это?.. Именно «сообщила»; не просила повременить, а только сообщила? Как это должен был понять наш уважаемый Аркадий Павлович?.. «Произошло самоубийство; все данные налицо; сомнений быть не может, а между тем, вашей опытности и искусству все же не доверяют и приглашают для проверки постороннее лицо, такого же следователя, как и вы». Ядринцев, быть может, так это и понял, но его благородие оказалось по-

сильней самолюбия: он предпочел снести маленькое унижение, но не лишиться моей помощи в других более важных случаях, и потому решил дождаться моего приезда. Барыня поняла, что ошиблась, и повела атаку с другой стороны: начала просить о выдаче тела родным, так как не было причин к тому, чтобы оно продолжало оставаться в прежнем ужасном положении.

— Однако!.. Ядринцеву не позавидуешь!.. — заметил я.

— Я думаю... Чем же объяснить эти старания мадам Моравской? Она боялась, чтобы я не пришел к иному выводу, чем Аркадий Павлович, а потому и хотела лишить меня всяких указаний на что бы то ни было, добившись осмотра тела до нашего приезда. К несчастью для нее, ей это не удалось.

— Представьте, Феогност Иванович, я не придал никакого значения этим фактам.

— Странно! Мне они сразу бросились в глаза... Однако, продолжаю. Когда мы вошли в дом, мне показалось странным то обстоятельство, что обе комнаты покойного лишены свободного выхода в коридор, а вместо того выходят в спальни двух других людей. Впоследствии я оказался прав, но вернемся к этому позже, а теперь займемся телом самоубийцы. Вы помните, что я заставил записать положение пальцев на ручке револьвера?.. Возьмите точно таким же образом, то есть обыкновенным, этот револьвер... Не бойтесь, он не заряжен... И попробуйте, легши на диван, спустить курок... Да, это трудно: в указанной системе курок подымается и опускается одним нажимом на гашетку... Вы все еще не можете?.. Я так и знал, и думаю, что старику проделать это было бы еще трудней, чем вам... Оставьте, душенька, это — очень неудобный способ самоубийства, и я не советую вам когда бы то ни было прибегать к нему... Измените положение руки: большой палец на гашетку, а четыре остальных на другую сторону. Не правда ли, теперь легко? Такой старый спортсмен, как Чарган-Моравский, не мог не знать этого правила...

— Хорошо!.. Это невозможно, если покойный застрелился лежа, — произнес я. — Но он мог произвести выст-

рел в сидячем положении, и тогда расположение пальцев не имеет такого важного значения...

— Совершенно верно, но в таком случае одеяло оказалось бы не выше талии, а на самом деле его край совпадает с раной; следовательно, рана была нанесена именно в то время, когда убитый лежал, а не сидел. Дальше... В барабане револьвера, как и следовало ожидать, оказалась одна пустая гильза, но... роковая неосторожность — канал ствола закопчен не был!.. Не угодно ли взглянуть?.. Но все это — пустяки в сравнении с самой важной уликой, которую мне дал этот револьвер... Вы, вероятно, знаете, что нет и двух человек, у которых тоненькие бороздки, покрывающие кожу внутренней стороны наших пальцев, оказались бы одинаковыми?.. И эти бороздки имеют привычку оставлять свои следы на зеркале, стекле, бумаге, полированной стали и тому подобных гладких поверхностях. Эти следы своим происхождением обязаны небольшим количествам жира, выделяемого нашей кожей... И вот на левой стороне револьвера, в тем месте, где кусочек полированной стали закрывает механизм курка, я заметил ясный отпечаток большого пальца руки, которая держала этот револьвер со стороны дула. Рука, конечно, могла принадлежать и Моравскому, но отпечаток его большого пальца, смазанного жиром, не дал на моей спичечнице копии первого, а оригинал вполне самостоятельный. С моей стороны было бы слишком смело утверждать это, так как нужно быть специалистом, чтобы разобраться в разнице мельчайших изгибов и узлов. Но у меня был еще особый признак: вдоль первого отпечатка проходил едва заметный шрам от какого-нибудь старого пореза... Возьмите револьвер и попробуйте насиливо вложить его мне в руку... Как вам придется его держать?.. Вот видите, положение вашей руки совершенно аналогично с тем, которое я вам только что обрисовал!..

VIII.

— Я в восхищении!.. Но как же предсмертная записка?..

— Ну, это — уже вздор!.. У меня было достаточно фактов, говорящих за то, что Чарган-Моравский убит другим лицом... Теперь нужны были указания на то, кто его убийца, и для этого я перешел к записке. Вот она... Почерк покойного признан всеми знавшими его. Пожилые люди редко пишут так красиво... Главное — обратите внимание, какой тонкий и твердый карандаш был у писавшего: все буквы не толще написанных самым острым пером, а покойный любил такие перья... На письменном столе оказались только три карандаша, из которых один цветной и два — настолько мягкие, что о них и говорить не приходится. Остатков четвертого карандаша нигде не оказалось — значит, Моравский не уничтожил его, написав свою записку; вывод — записка была написана не здесь.

— Прекрасно!.. Но вы не только рассматривали записку, а инюхали ее?..

— Еще бы, это для меня было очень важно!.. Понюхайте ее теперь и вы... вот она... Не чувствуете запаха?.. Ну, значит, мое обоняние тоньше вашего, и только! В таком случае, вот вам точно такой же листок и конверт... Есть между ними разница?..

Я внимательно всмотрелся в два листка, положенные передо мной, и заметил, что тот из них, на котором была записка, не чисто белый, а какого-то едва уловимого желтоватого оттенка, совершенно незаметного, если его не сравнивать с другим.

— Хорошо, но я не нуждаюсь в этом сравнении, так как ясно ощущал хорошо знакомый мне запах так называемого французского скипидара... Вы не понимаете?.. Вот вам бутылочка, в ней скипидар; смочите при помощи ватки этот листок; положите его на открытую страницу записной книжки; теперь возьмите карандаш... А-а! Наконец-то вы поняли!.. Бумага, смоченная скипидаром, становится про-

зрачной, как стекло... Предположите, что под нею, вместо моей книжки, собственноручное письмо Моравского к его супруге, что ли; а если их было несколько, то и того лучше, а плюс еще недельку практических упражнений — и из отдельных слов совсем не трудно составить такую короткую записочку, как эта. С конвертами та же история, но только еще проще, так как надпись на нем не нужно было составлять из отдельных слов, а можно было воспользоваться готовой на каком-нибудь старом конверте...

— Но почему же именно карандаш?

— А потому, что чернила на такой бумаге расплываются и писать ими нет возможности. Как видите, все очень просто и, благодаря этой простоте, я в полчаса получил больше, чем смел надеяться: положение пальцев на револьвере, отпечаток чужого пальца на нем же и, наконец, пропитанная скрипидаром бумага записки. Пуля, извлеченная к этому времени из раны, конечно, не подходила к имевшемуся у нас револьверу, но я и без нее это знал.

— Теперь я понимаю ваш благоговейный порыв у Трофимыча, — заметил я.

— Он был вызван желанием по отпечатку его пальца проверить тот факт, что почтенный старикашка не причастен к грустному событию. Но, кроме того, из разговора с ним я узнал, что мое подозрительное отношение к особенности комнат, занимаемых убитым, совершенно справедливо: до этого времени убитый жил не в них, и единственной причиной его переселения явилось то, что к нему проникнуть раньше было слишком трудно. Перемена пола — вздор: он оставался без поправок во все время существования самого дома, да и мадам Моравская могла мириться с ним целые два года, и вдруг теперь ей понадобилось тревожить старика-мужа из-за такой неосновательной причины. Обстоятельства складывались таким подавляющим образом, что я, после выхода от Трофимыча, уже не сомневался в виновности барыньки. Но мне нужно еще было узнать, кто является главным действующим лицом: она или ее сообщник, так как отпечаток пальца на револьвере был слишком велик для женской руки. Волнение мадам

Моравской и осмотр ее письменного стола, на котором не оказалось никаких следов подготовительных работ, доказали мне ее второстепенное значение, и потому вся тяжесть обвинения падала на ее любовника, волос которого я снял с ее груди, делая вид, что снимаю гусеницу. Обморок барыньки, разумеется, — притворство, необходимое, чтобы, по возможности, правдоподобней объяснить причину того, что она не слышала выстрела, которым в соседней комнате был убит ее муж. Горничная тоже была введена в заблуждение и, конечно, показала бы в ее пользу... А дальнейшее, я полагаю, понятно само собой... Господин Орликов был так любезен, что дал мне возможность полюбоваться своим портсигаром, на котором я без труда нашел еще два автографа его большого пальца, и... дело закончилось как нельзя более просто... Ничего нового и оригинального в нем не было, так как в сем мире, как говорит Теренций, — «*Eadem sunt omnia semper, eadem omnia restant*»*. Но все-таки свою задачу мы выполнили довольно добросовестно; как вы находите?..

— Скажите лучше — бесподобно!.. А теперь, Феогност Иванович, нарисуйте мне в заключение картину преступления, как вы ее понимаете.

— С удовольствием.. Это очень просто!.. Чарган-Моравский около часа ночи отпустил Трофимыча; его супруга выждала некоторое время, чтобы он успел уснуть, а затем упала в обморок; горничная привела ее в сознание и тоже ушла спать. Когда все в доме стихло, Орликов прокрался в комнату Моравской, оттуда прошел в опочивальню старика и выстрелом на близком расстоянии из револьвера системы «Монтекристо» убил его наповал. Кстати, вот этот револьвер; при довольно больших размерах он, действительно, стреляет почти беззвучно, зато пригоден только на очень близком расстоянии. Но последнее обстоятельство в данном случае значения не имело. Убедившись, что Моравский

* «Все вечно одно и то же, и тем же остается» (лат.). В действительности это изречение принадлежит Титу Лукрецию Кару («О природе вещей») — Прим. изд.

умер, убийца вложил в одно из гнезд другого револьвера пустую гильзу, а самим револьвером вооружил руку мертвеца, но, как мы видели, не совсем умело. Заранее приготовленная записка была положена на стол, и он тем же путем прошел к себе. — Трубников немного помолчал и затем задумчиво добавил: — Мне кажется, что это произошло около трех часов ночи и что звук выстрела, несмотря на его слабость, все же прервал чуткий сон старика камердинера, но бедняга этого не понял, так как шум длился каких-либо три четверти секунды, и он, проснувшись, ничего уже не слышал...

ОБ АВТОРЕ



Михаил Дмитриевич Кострицкий, публиковавшийся как под собственным именем, так и под псевдонимами М. Ордынцев, М. Ордынцев-Кострицкий и десятком других, родился в Киеве 2 (14) февраля 1887 г. и происходил из обрусовшего шляхетского рода; отец его был надворным советником и доктором медицины.

В детстве Кострицкий жил в Бессарабии, учился в Гомельской гимназии, зачитывался романами Майн Рида и Г. Эмара и к 12 годам сам сочинил три приключенческих романа. Согласно написанной в 1913 г. автобиографии, в 1902 г. бросил гимназию и стал заниматься дома, а в 1904 «очутился в Аргентине, куда меня забросила жажда самостоятельности и свободной жизни». После «многих переделок» возвратился на родину, закончил киевскую коллегию П. Галагана (1905-07). В 1908 г. поступил на юридический факультет Киевского университета, одновременно служил в тюремной инспекции, затем в губернском правлении). В 1909 перевелся в Петербургский университет, но в следующем году был исключен за невзнос платы. В 1911-12 вновь учился на юридическом факультете Киевского университета. Состоял секретарем редакции журн. *Русский паломник* (1910) и *Светлый мир* (1910-11). В 1913 г. был командирован как репортер на открытие Панамского канала. Принимал участие в Первой мировой войне, примкнув к польскому отряду.

Печататься начал в 1908 г. Для литературной деятельности Кострицкого характерна крайняя плодовитость: он выступал с бытовыми и этнографическими рассказами, историческими и путевыми очерками в журн. *Нива*, *Русский паломник*, *Родина*, *Природа и люди*, *Задушевное слово*, *Всходы*, газ. *Биржевые ведомости*, *Сельский вестник*, *Южный край* и др. периодических изданиях. До революции писатель успел опубликовать и немало исторических романов и повестей: «Запорожцы в Сарагоссе» (1911), «Строитель государев» (1913), «Имперский ювелир» (1913), «Из Киева на трон французский» (1913), «На Куликовом поле» (1913), «Королева земли франской» (1914), «За трон московский» (1914), «Опальный князь» (1914), «Под стягом Мономаха» (1915), «Украинский Макиавелли» (1915) и др. Современная автору критика видела в них «типичные романы приключений», лишенные исторической достоверности.

Выпустил Кострицкий и три сборника повестей и новелл – «Ж» (Пг., 1914), «Волшебные сказки наших дней» (Пг., 1915), «За счастьем, золотом и славой» (Пг., 1915). Последние два из них объединили приключенческие произведения, которые разворачиваются на экзотическом фоне (Южная Америка, Средняя Азия, Китай и пр.) и иногда включают и фантастические элементы (тема «затерянных миров», вымыщленные путешествия, Атлантида и т. д.); есть и опыты в детективном жанре (рассказы «Губернский Шерлок Холмс», «Тайна негатива»). Вместе с тем, в приключенческих произведениях Кострицкий нередко повторяется, а их центральным мотивом становится «избавление от опасности» как таковой; исследователи наших дней справедливо отмечают их вторичность и подражательность по отношению к Ф. Куперу, Майн Риду, А. Конан Дойлю и др. авторам.

В 1939 г. Кострицкий жил в Фергане (Узбекистан); 18 октября 1941 г. он был осужден военным трибуналом войск НКВД Среднеазиатского военного округа. Точная дата смерти писателя неизвестна.

Примечания

Волшебные сказки наших дней

В разделе полностью воспроизводится сборник «Волшебные сказки наших дней: Повести и рассказы из жизни Южно-Американского материка» (Пг., 1915, под псевд. «М. Д. Ордынцев-Костицкий»).

Икар Ватиканского холма

В раздел включены рассказы из сборника «За счастьем, золотом и славой: Об искателях новых впечатлений и авантюристах всех стран земного шара» (Пг., 1915).

Титульный рассказ был впервые опубликован в журн. *Природа и люди* (1910, № 24, под псевд. «М. Ордынцев») и сопровождался следующим редакционным примечанием:

«Симон-волхв является древнейшим историческим авиатором христианской эпохи; он совершал свои полеты в Риме в 44-68 гг. после Р. Х. Личность его, упоминаемая в Деяниях Апостольских, никоим образом не может быть причислена к легендарным. Равным образом нельзя оспаривать и тот факт, что он действительно устраивал пробные полеты по воздуху на глазах многочисленного народа. Это подтверждается не только свидетельствами христианских писателей того и последующего времени, каковы Климент Римский, Евсевий, Арnobий, Сульпиций Север, Августин, Феодорит и др., но и рассказами языческих писателей — Светония, Лукиана, Ювенала, Диона Хрисостома и т. д. Несмотря на некоторые разногласия, все эти писатели подтверждают, что Симон-волхв обладал способностью летать по воздуху наподобие птицы и что во время одного из таких полетов он упал и разбился насмерть. В церковных преданиях имеется указание на то, что апостол Петр боролся против влияния Симона-волхва и что падение и смерть его вызваны были молитвами апостола, а Климент Римский даже уверяет, что распятие ап. Петра последовало

по распоряжению Нерона, находившегося в дружеских сношениях с Симоном».

Включенные в книгу произведения публикуются с исправлением очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. В биографическом очерке использованы материалы О. Краснолистова и Л. Гавриной из словаря «Русские писатели 1800-1917».

Оглавление

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ НАШИХ ДНЕЙ

От автора	7
«Сан-Блас»	9
Приворотное зелье	93
Фазенда донны Мануэлы	105
«Гарпагон» из Коретибы	132
Цветок раффлезии	145
Смеющийся камень	159
«Per aspera ad astra»	180

ИКАР ВАТИКАНСКОГО ХОЛМА

Икар Ватиканского холма	220
Тайна негатива	229
Губернский Шерлок Холмс	241
Об авторе	261
П р и м е ч а н и я	264

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.